

## Annotation

«Оливия Лэтам» — третий роман Э. Л. Войнич. Впервые был опубликован в Лондоне летом 1904 года Вильямом Хейнеманном.

В своих автобиографических заметках Э. Л. Войнич пишет, что в этом романе отразились ее впечатления от пребывания в России в 1887—1889 годах. «Что касается моей жизни в России, то многое из того, что я видела, слышала и испытала там, описано в «Оливии Лэтам». Впечатления от семейства народовольцев Василия и Николая Карауловых легли в основу описания семьи Да-маровых. «У меня до сих пор,— писала Э. Л. Войнич в 1956 году,— сохранилась фотография маленького Сережи (сына Василия и Паши Карауловых) и его бабушки. Это была мать Василия, шведка по происхождению. В какой-то степени она послужила прототипом образа тети Сони в «Оливии Лэтам», а Костя срисован отчасти с Сережи. В шестой главе первой части этого романа Владимир рассказывает детям сказку о Зеленой гусенице и Стране Завтрашнего Дня. Эту сказку однажды рассказывал при мне Сереже и своим детям Николай Караулов».

Сведения о братьях Карауловых очень скудны. В. А. Караулов после разгрома Исполнительного комитета «Народной воли» в 1881 году, вместе со своим братом Николаем, поэтом П. Ф. Якубовичем и другими, был организатором центральной группы народовольцев, но вскоре их всех арестовали. В. А. Караулов был приговорен к четырем годам каторги. После отбытия срока каторги в Шлиссельбурге В. А. Караулов был переведен в ноябре 1888 года в дом предварительного заключения, куда Э. Л. Войнич носила ему передачи. Самого заключенного она никогда не видела. Весной 1889 года он был сослан в Восточную Сибирь, куда за ним последовала его жена с сыном. Впоследствии В. А. Караулов стал ренегатом. В. И. Ленин клеймил его в статье «Карьера русского террориста» (1911). Николай Караулов, с которым Э. Л. Войнич познакомилась летом 1888 года, когда жила в доме Карауловых в селе Успенском, Псковской губернии, участвовал в революционном движении с ранней молодости. В начале 1884 года был арестован и после заключения в Петропавловской крепости сослан в дом родителей под надзор полиции. Умер Н. А. Караулов вскоре после отъезда Э. Л. Войнич из России, в августе 1889 года, в возрасте тридцати двух лет.

В романе «Оливия Лэтам» отразилось знакомство Э. Л. Войнич с русской и польской литературой. Помимо прямых упоминаний — «За

рубежом» М. Е. Салтыкова-Щедрина, поэмы «Стенька Разин» А. Навроцкого, поэмы Ю. Словацкого «Ангелли»,— в романе заметны следы влияния русской литературы 80-х годов, как легальной (произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина, В. Гаршина и др.), так и нелегальной (листовки, прокламации, издания «Народной воли» и т. п.). В романе сказалось и близкое знакомство писательницы с русскими и польскими эмигрантами в Лондоне.

На русском языке «Оливия Лэтам» впервые была опубликована в 1906 году в переводе А. Н. Анненской в журнале «Русское богатство» со значительными купюрами. Отдельным изданием роман выходил в 1926 и 1927 годах в издательстве «Мысль» с большими сокращениями.

Впервые «Оливия Лэтам» была напечатана на русском языке полностью в издании: Э. Л. Войнич, Избранные произведения в двух томах, т. I, М. Гослитиздат, 1958.

---

- [ОЛИВИЯ ЛЭТАМ](#)
  - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
    - [ГЛАВА I](#)
    - [ГЛАВА II](#)
    - [ГЛАВА III](#)
    - [ГЛАВА IV](#)
    - [ГЛАВА V](#)
    - [ГЛАВА VI](#)
    - [ГЛАВА VII](#)
    - [ГЛАВА VIII](#)
    - [ГЛАВА IX](#)
  - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
    - [ГЛАВА I](#)
    - [ГЛАВА II](#)
    - [ГЛАВА III](#)
    - [ГЛАВА IV](#)
    - [ГЛАВА V](#)
    - [ГЛАВА VI](#)
    - [ГЛАВА VII](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

•

◦

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

## ОЛИВИЯ ЛЭТАМ

*Die alten, bösen Lieder,  
Die Träume bös und arg,  
Die lasst uns jetzt begraben.  
Holt einen grossen Sarg.*

*Дурные, злые песни,  
Печали дней былых —  
Я все похоронил бы,  
Лишь дайте гроб для них (нем.).<sup>[1]</sup>*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА I

Когда Альфред Лэтам окончил в начале шестидесятых годов Кембриджский университет, никто не сомневался в том, что он далеко пойдет. Будет просто непостижимо, сказал ему один из преподавателей, если он не оправдает возлагаемых на него надежд.

И в самом деле, поначалу все складывалось для молодого человека как нельзя лучше: он не только с отличием закончил университет, но и обладал прекрасным здоровьем, тонким умом, был неприхотлив и не имел пороков. Скорее врожденная порядочность, нежели соображения морального порядка, удерживала его от дурных поступков, а любовь к спорту и чувство юмора защищали от низменных соблазнов.

Он был сыном провинциального банкира — человека уравновешенного и старомодного — и вырос в чистой, здоровой обстановке, не зная пагубного влияния нищеты и богатства. Его равно интересовали как древняя ассирийская культура, так и новейшие достижения в области ассенизации, а зрелище удачно сыгранной партии в крикет доставляло ему не менее удовольствия, чем поэмы Данте или органные фуги Баха.

Но у Альфреда Лэтама была одна страсть — народное образование. Он мечтал о публичных библиотеках и общедоступных университетах, о техническом обучении и спорте для всех, о вечерних лекциях и образцовых начальных школах.

Предполагалось, что Альфред, как старший сын, станет компаньоном отца в банке, но по окончании университета молодой человек объявил, что хочет быть школьным учителем. И родственники охотно согласились, что он вправе сам выбрать себе будущую профессию.

Однако от их благодушия не осталось и следа, когда он отказался от хорошего места, которое они с трудом для него подыскали, и предпочел захудалую школу в трущобах какого-то фабричного городка на севере. Протесты возмущенных родственников и друзей ни к чему не привели. Для чего же, спрашивали они, получил Альфред столь блестящее университетское образование? Чего он надеется добиться, растративая свои силы и способности на этих неотесанных ланкаширских юнцов? — Подождите немного, пока эти неотесанные юнцы подрастут, и вы увидите,

чего я сумел добиться, — отвечал молодой человек.

И родне не пришлось долго ждать. Через два года после окончания университета он женился — по любви. Все друзья горячо одобряли его выбор: жена Альфреда была, бесспорно, красива, а мягкое выражение ее лица служило залогом хорошего характера. Правда, они не совсем представляли себе, как сможет хрупкая, изнеженная женщина вынести те лишения, на которые ее обрекал энтузиазм мужа. Бедность, тяжелая работа, непривычное окружение, перепачканные дети, постоянно осаждающие дом учителя, — все это, говорили они, может быть, вполне устраивает Альфреда, раз уж он сам избрал такой путь. Но как же он не понимает, что для Мэри такая жизнь будет слишком тяжелой?

Но Мэри проявила поистине ангельское смирение и не роптала. Она с самого начала поняла, что муж несравненно умнее и талантливее ее, и поклонялась ему, как божеству. Мэри была глубоко религиозна, и хотя упорное стремление мужа завоевывать для людей невежественных блага просвещения казалось ей не столь идеальной формой христианского милосердия, как раздача теплых одеял и талонов в бесплатную столовую, чем она сама занималась в девичестве, — все же он посвящал все свое время неимущим и был, следовательно, хорошим христианином. Жаль только, что некоторые его высказывания не отличались должным благочестием.

Но заимствованные и плохо понятые общественные идеалы не могут, конечно, служить надежной опорой в борьбе с повседневными трудностями. Кроткая Мэри не жаловалась, но как же ей хотелось, чтобы благотворительность мужа выражалась в более общепринятых, а не таких отталкивающих формах! А потом одна за другой посыпались неприятности: болезни в доме, нужда у соседей, финансовые затруднения со школой, и — что хуже всего — местные церковники обвинили учителя в распространении среди школьников «пагубных идей Дарвина»<sup>[2]</sup>.

Мистер Лэтам только смеялся над их нападками, но для его жены это был тяжелый удар. Она никогда не понимала убеждений Альфреда, которыми тот пытался делиться с ней, и жестоко страдала от этого. Но мучило ее не оскорбленное самолюбие (Мэри не была самолюбива), а совсем другое: слова мужа будили в ней смутный страх перед чем-то еретическим, разрушительным, что может подорвать самые устои ее веры, если только всевышние силы не помогут ей. Она искала спасения от этих наваждений в горячих молитвах, прося бога охранить ее от сомнений и греховной неуверенности. Казалось, бог внял ее молитвам; во всяком случае, муж перестал говорить на волновавшие ее темы. Пожалуй, он

вообще перестал с ней говорить. Порой, когда миссис Лэтам плохо себя чувствовала или была чем-то удручена, в душу ее закрадывался леденящий страх: что, если муж уже не любит ее, как раньше? Но, взглядываясь в его худое, измученное лицо, она начинала горько упрекать себя за то, что так плохо думает о своем хорошем муже.

В дальнейшем сомнения миссис Лэтам приняли другую форму. Почему же муж перестал любить ее? Может быть, потому, что после рождения ребенка она уделяла слишком много внимания младенцу в ущерб своим супружеским обязанностям? А может быть, причиной всему извечное непостоянство мужчин? Или она просто надоела ему, оттого что часто болеет и красота ее вянет? И миссис Лэтам нередко украдкой плакала.

Что касается мистера Лэтама, то он не задавал себе больше вопросов: ответы были ему уже давно известны. Характер его, который миссис Лэтам втайне была склонна теперь считать изменчивым, на самом деле отличался прямо-таки роковым постоянством. Его жалкая школа стала для него святыней, в ней он видел смысл и оправдание всей своей жизни. Легко ли было ему сознавать, что в лице Мэри, — а он понял это еще раньше, чем она сама, — его любимое детище обрело смертельного врага? «Я сам во всем виноват, — думал мистер Лэтам, — бедняжка Мэри ни в чем не повинна». Она хорошая женщина, но ему нужна не такая жена. И он, как человек более умный, должен был с самого начала это понять. Он совершил ошибку и должен расплачиваться за ее последствия; должен продолжать работу, не бросая жены, ставшей ему помехой, а не помощницей, должен заботиться о том, чтобы она была по возможности счастлива. Правда, последнее ему навряд ли удастся, с горечью думал он, скорее это по плечу церковникам, так жестоко поносившим его. Но он постарается быть внимательным, заботливым мужем, и она никогда не догадается, каких ему это стоит усилий.

Второй ребенок — девочка — родился через три года после их свадьбы. Как-то вечером, когда малышке было всего несколько дней, мистер Лэтам сидел подле кровати, на которой лежала Мэри, и читал ей вслух. Поэма, выбранная Мэри, рассказывала о переживаниях некоей набожной леди, посетившей гору Елеонскую<sup>[3]</sup>, называемую также «гора Олив». Строгому вкусу мистера Лэтама претила даже обложка этой книги, но, будь ее автором сам Мильтон<sup>[4]</sup>, он не смог бы читать ее более ровным, почтительным тоном. Поглядывая время от времени на нежный профиль жены, он думал: «Я понимаю, что бедняжка не замечает всей нелепости

этой вещи, но как ее только не тошнит от такого дешевого рифмоплетства?»

— Альфред, — сказала она, когда он кончил, — мне хотелось бы назвать нашу девочку Оливией.

Он с трудом скрыл свое неудовольствие.

— В честь этой поэмы?

— Не совсем... Видишь ли, это имя напоминает мне кое-что. Но если оно тебе не нравится, выберем другое.

— Оно мне нравится, — мягко ответил он. — У меня с ним тоже связано много воспоминаний.

Она посмотрела на мужа, улыбаясь сквозь слезы.

— Правда? О Альфред, дорогой мой, как это меня радует. — Ее тонкие пальцы нервно теребили запонку на его рукаве. — Может быть, нехорошо, что я так говорю... ты всегда так добр ко мне... но... порой мне кажется, что ради этой школы ты все забыл... Помнишь тот закат, что мы видели с Монте Оливето? И наше возвращение ночью во Флоренцию?

Он чуть поморщился, но не стал ее разубеждать, и, склонившись над лежащим между ними ребенком, они обменялись поцелуем. Она погрузилась в воспоминания об их медовом месяце, проведенном среди темных тосканских холмов, а он думал о своих разбитых надеждах и голубе, который не вернулся к Ною в ковчег.

Прошло около двадцати пяти лет. Мистер Лэтам, убеленный сединами директор банка в Суссексе, подъезжал в своем экипаже к железнодорожной станции Хит-бридж, находившейся в трех милях от его имения, чтобы встретить прибывающий туда поезд. Был чудесный летний день, и живая изгородь, вдоль которой он ехал, благоухала шиповником и жимолостью. Несмотря на то, что он ехал один, чувство счастья охватило банкира и отразилось на его красивом, умном лице. Он и впрямь был сегодня счастлив: его дочь Оливия приезжала домой на каникулы. Последние семь лет она жила в Лондоне. Вначале девушка обучалась там уходу за больными, а потом работала сестрой милосердия в трущобах Серрея. Свой летний отпуск она всегда проводила у родителей, да и зимой ей обычно удавалось вырваться на несколько дней. Но в этом году у нее было очень много работы, и со дня ее последнего приезда прошло уже десять месяцев. Мистер Лэтам считал дни, оставшиеся до приезда дочери, с нетерпением школьника, ждущего каникул. Каждое утро он просыпался с мыслью, что прошли еще одни сутки и скоро, совсем скоро она приедет домой. Только то, что касалось Оливии, волновало его теперь. За истекшие годы его положение упрочилось, хотя он и не обрел покоя. Он был искренне

привязан к жене и младшей дочери — хорошенькой Дженни, — но, если бы одна из них умерла, это не нарушило бы его душевного равновесия. Безупречный муж и отец, он жил обособленной от семьи жизнью, не делясь ни с кем своими сокровенными мыслями.

Одна Оливия безраздельно владела его сердцем. В ней словно ожили забытые чаяния его юности, дерзкие мечты, привязывавшие его к жалкой школе. Ее приезды домой, как он жадно ни ждал их, доставляли ему не только радость, но и глубокое страдание, в ясных, чистых глазах Оливии ему чудился немой упрек за свои бесцельно растраченные юные годы. Вот и сейчас оживление на его лице сменилось привычной грустью, как только он подумал об этом. Двадцать четыре года обеспеченного существования не стерли пятна, оставленного на совести богатого банкира его бегством из захудалой школы. Он предал свою первую любовь, и призрак ее все еще преследовал мистера Лэтама. Но разве мог он после такой неудачной женитьбы поступить тогда по-другому? После того, как родилась Оливия, Альфред Лэтам в течение двух страшных лет вел отчаянную борьбу с нищетой, сплетнями, грязными интригами и молчаливым, мягким, убийственным влиянием Мэри. В конце концов слезы жены сломили его сопротивление. Ему было бы легче противостоять ей, если бы она ссорилась с ним, жаловалась, препятствовала в чем-либо. Но постоянно видеть перед собой обреченную, смирившуюся со своей судьбой жертву оказалось ему не под силу. И все же он продолжал цепляться за школу. А потом их маленький сын умер от скарлатины, подхваченной, несомненно, от одного из тех оборванцев, которые постоянно прибегали к ним в дом, чтобы поделиться своими огорчениями и радостями с «учителем». Мэри заболела от горя.

— Она смертельно боится этого дома, школы и всего, что связано с вашей работой в трущобах, — сказал ему доктор. — Пребывание в деревне не излечит ее. Вы должны хоть на время уехать отсюда, если хотите, чтобы она выздоровела и снова узнала радость.

Альфред Лэтам уехал оттуда навсегда, стал компаньоном отца, а после его смерти — директором банка. Однако принесенная им жертва не оказала ожидаемого воздействия на здоровье Мэри. После рождения Дженни болезнь ее приняла хронический, неизлечимый характер. Все же Мэри казалась если не счастливой, то, во всяком случае, удовлетворенной, и всегдашняя кротость и мягкость характера не изменили ей. А что до него — то он перестал бороться с судьбой, которая, надо сказать, вполне вознаградила его за утрату. С точки зрения окружающих, Альфред Лэтам был просто счастливым, любимцем богов, щедро осыпанным их

милостями: богатство его росло, сам он пользовался всеобщим уважением, был членом Аристотелевского общества, отцом двух очаровательных дочерей — одним словом, имел все, чего только может пожелать человек.

Мистер Лэтам натянул поводья и, нагнувшись, сорвал ветку шиповника для Оливии. Он знал, как ее обрадует пышная растительность Суссекса после лишенных зелени трупп, где она работала. Но она сама выбрала такую работу, и ни один человек не был так безгранично счастлив своим выбором, как Оливия; она казалась прямо-таки созданной для своей профессии. Решение Оливии доставило немало огорчений ее кроткой матери, но мистер Лэтам проявил на этот раз твердость: пусть их дочь сама решает свою судьбу и пусть никто и ничто не мешает ей в выборе жизненного призвания. Про себя он подумал, что Оливия и без его вмешательства поступила бы по-своему, но Мэри он этого не сказал. Он лишь заметил:

— Ничего дурного не приключится с нею, если она поближе познакомится с жизнью. Она достаточно разумна и всегда сумеет отличить плохое от хорошего. Вот Дженни у нас совсем другая.

Миссис Лэтам не противилась. Возможно, она и сама понимала, что противоречить Оливии бесполезно. С самого раннего детства девочка отличалась спокойным, уравновешенным характером и непреклонной решимостью во всем, что касалось ее личных дел. Когда ей исполнилось девятнадцать лет, она должна была поехать на стажировку в лондонскую детскую больницу. Мать подарила ей «Избранные места из Библии» и поэмы Фрэнсиса Ридли Гавергала<sup>[5]</sup> в красивых, тисненых золотом переплетах. Оливия приняла подарок с подобающим изъятием благодарности, после чего отправилась к отцу в кабинет и сказала:

— Нет ли у тебя двух коробок, папа? Я бы спрятала туда эти книжки, чтобы не попортились переплеты. Пускай лежат себе там. А для чтения дай мне с собой настоящие книги, но только немного, потому что, работая в больнице, я буду иметь мало свободного времени. — Бери что хочешь, — ответил отец, и Оливия сейчас же приступила к отбору.

Брови отца медленно поползли вверх, когда он взглянул на отложенные книги: Эпиктет<sup>[6]</sup>, проза Мильтона, «Апология Сократа»...

«Бедная Мэри», — подумал он после ухода дочери. Та же мысль промелькнула у него и сейчас, когда он положил на сиденье сорванную ветвь и поехал дальше.

Мистер Лэтам вспомнил день, когда впервые подметил, каким непреклонным характером наделена его старшая дочь. Тогда он не знал,

печалиться или радоваться этому открытию. Оливии было тринадцать лет. Она взбудоражила весь дом, придя с улицы с грязным младенцем на руках, а пьяная бездомная женщина, у которой она отобрала ребенка, шла за ней следом, бормоча безобразные ругательства, но не решаясь буяннить.

— Перестаньте браниться, — хладнокровно заметила Оливия, усаживаясь в передней на кресло и не выпуская из рук свою оравшую во все горло добычу. — Вы недостойны быть матерью, если держите своего ребенка вниз головой и не можете его успокоить, когда он плачет. Ступайте на кухню и окатите голову холодной водой из-под крана.

Мистер Лэтам засмеялся, вспомнив комизм и нелепость этой сцены: перепуганные слуги, грудной младенец, слезливое смирение пьяной матери, чей гнев был усмирен неумолимой логикой маленькой укротительницы в тупоносых башмачках, с копной непослушных волос. Но смех замер на губах мистера Лэтама, когда в памяти его ожили тяжелые дни, пережитые им прошлой зимой. Оливия должна была приехать на рождество домой. Он получил от нее письмо, где она, как полагал мистер Лэтам, сообщала о дне своего приезда, но, взглянув на штамп, он понял, что она не приедет. Письмо было из городка в Стаффордшире, где свирепствовала эпидемия оспы. Оливия добровольно отправилась в больницу, специально открытую там на время эпидемии. И тогда, впервые в жизни, мистера Лэтама охватило чувство слепого ужаса. Он сел в первый же поезд отправлявшийся в Стаффордшир, с безумной мыслью сказать ей, что не может без нее жить, заклинать ее все бросить и вернуться; пусть кто-нибудь другой, кого не так любят, кто не так дорог, как она ему, выхаживает заболевших оспой. Он вспомнил мучительное получасовое ожидание в темной побеленной комнатке; солнечный луч, заглянувший в оконце при появлении Оливии; ее гордо поднятую голову, когда она приблизилась к нему, высокая и стройная, в белом халате, пропахшем лекарствами. Он в смятении оправдал чем-то свой приезд, поговорил с ней о всяких пустяках те несколько минут, что она сумела урвать от работы, и уехал. В ее присутствии не могло быть места малодушию. А теперь эпидемия кончилась, и она ехала домой отдохнуть и присмотреть за больной матерью. Ее присутствие хоть на два-три месяца скрасит его унылое существование. А может быть, Оливия согласится заниматься своим любимым делом где-нибудь здесь, недалеко от дома? Опытная медицинская сестра могла бы принести столько пользы беднякам здешнего округа... Ей, дочери Альфреда Лэтама, можно и не думать о зарплате. На перроне к нему подошел носильщик.

— Верно ли, что мисс Оливия приезжает домой, сэр?

— Верно, но только погостить.

— Рад это слышать, сэр. То-то обрадуются мои старики.

Улыбаясь, мистер Лэтам сел на скамью и стал ожидать прибытия поезда. Он никогда не думал о том, как относятся к нему соседи. Но популярность его кумира — это было нечто совсем другое! А Оливия и в самом деле пользовалась популярностью. Весть о ее приезде облетела уже всю округу, и едва она ступила на платформу, как ее окружили невесть откуда подоспевшие дети и неуклюжие подростки, и каждый обязательно хотел нести ее чемодан и помочь ей сесть в коляску. Она знала всех по именам и с интересом расспрашивала о каком-то Джимми, который, как понял мистер Лэтам, нанес немалый ущерб своему здоровью, проглотив булавку.

— Нельзя ли непосвященному невежде узнать, кто такой этот Джимми? — спросил отец, когда коляска завернула за угол и сорванцы, которым она все еще махала рукой, исчезли из виду.

— Джимми Бэйт — мой верный друг. Помнишь, прошлым летом один мальчуган отправился пешком на Херстово болото и принес мне оттуда целый ворох какой-то вонючей болотной травы? Он видел, как я собирала в низине колокольчики, и решил, что я люблю «всякую мокрую траву».

— Ах да, теперь я припоминаю твоего юного вихрастого поклонника с веснушчатым носом. Благодарю судьбу за то, что хоть твои поклонники — деревенские пострелы и озорники. Хватит с меня роя светских щеголей, увивающихся вокруг моей младшей дочери.

В серых глазах Оливии загорелся озорной огонек.

— Бедный старенький папочка! Они, наверно, ужасно назойливы, эти Дженнины поклонники?

— Дело не в их качестве, а в их количестве. Все они, конечно, безобидные юноши, но временами мне просто надоедает это сборище дрессированных щенков.

— Не жалуйся, отец, все равно не пожалею тебя. Сам виноват, что женился на маме. Но мама в молодости была, наверно, еще красивее, чем Дженни.

Он украдкой посмотрел на нее, но Оливия сказала это, по-видимому, безо всякого умысла.

— Мама была несравненно красивее, чем Дженни.

— Ну вот и терпи, если уж у тебя хорошенькая дочь, и благодари судьбу, что их не две. Ты только представь себе, что было бы с тобой, если бы из меня тоже получилась красавица!

— Как будто это имеет значение! Но если уж на то пошло, то, на мой

взгляд, и ты недурна собой,

— Разумеется. Милая простушка.

— Будь у тебя волосы и цвет лица, как у Дженни, ты все равно не забывала бы больную мать ради кавалерийских офицеров и модных франтов.

— Отец, ты беспокоишься за Дженни? — сразу став серьезной, спросила Оливия.

— Беспокоюсь? Конечно, нет, если понимать это слово в обычном смысле. Дело не в этом. Дженни всегда выйдет сухой из воды и будет образцом добропорядочности. Такая уж у нее натура. Но видишь ли... мне больно, что у твоей матери избалованная и требовательная дочь, а у тебя — ленивая и эгоистичная сестра.

— Она не эгоистична, папочка. Просто она еще очень молода, и мама всегда ей потакала. А теперь расскажи мне о маме. По-твоему, ей сейчас хуже?

— Я и сам не знаю. Доктор ничего не находит, кроме слабости. Но она так подавлена. Ты сама увидишь. Как я рад, что ты наконец дома. Рад за нее и за Дженни.

— А за себя, папочка?

Мистер Лэтам коснулся руки дочери.

— Не будем говорить об этом, — сказал он и перевел разговор на другую тему.

— Между прочим, приехал твой друг, почтенный мистер Грей, и уже приступил к своим обязанностям. Наш старый настоятель объяснил мне, что взял его только потому, что ты похвально отозвалась о его действиях во время эпидемии. Тем не менее он старался вывести у меня, отвечают ли религиозные воззрения нового священника догматам нашей церкви. Я сказал ему, что для неимущих прихожан важно не то, какого направления придерживается новый священник, а сколько мыла и лекарств сможет он для них раздобыть.

— Мистер Грей вполне с тобой согласится, отец. Он с готовностью откажется от чтения проповедей в пользу мистера Уикхэма, лишь бы ему разрешили посещать паству на дому. Вряд ли он искушен в богословских вопросах, но зато сумеет перевязать поврежденную ногу. Я видела, как он с этим справляется.

— Какая приятная противоположность его предшественнику, который не умел и не хотел работать.

— Ты говоришь о том светском на вид молодом человеке со скошенным подбородком?

— Да. У него была склонность цитировать по-латински святого Августина, когда нам надо было что-то решить в отношении канализации. На самом деле он и латыни-то толком не знал, всегда путался в глаголах. А этот новый священник, что он — твой друг?

— Дик Грей? Да, один из моих самых близких друзей. Я знала его еще задолго до эпидемии оспы, он имел приход в Лондоне и частенько навещал моих больных в Бермондсее<sup>[7]</sup>.

— Твоей матери пришла в голову одна мысль, — начал мистер Лэтам и запнулся. Оливия вопросительно посмотрела на него. — Это не имеет отношения к твоей работе. Но видишь ли, раз вы с мистером Греем такие друзья...

— Отец, не надо!

Мистер Лэтам с удивлением посмотрел на нее. Лицо Оливии внезапно побледнело.

— Оливия! — воскликнул он, схватив дочь за руку. — Оливия, что случилось?

— Ничего, папа, право же, ничего. Но прошу тебя, никогда не говори со мной о таких вещах. Все мои друзья, — а их у меня немного, — это только друзья, не больше.

— Голубка моя, но ведь наступит день, когда кто-нибудь станет для тебя больше, чем друг.

Оливия молчала, глядя прямо перед собой. Потом она повернула голову и пристально посмотрела на отца.

— Смотри, эти строения все в таком же антисанитарном состоянии, как и прежде. Неужели с ними ничего нельзя сделать?

Мистер Лэтам перевел дыхание. Слово дверь неожиданно захлопнулась перед самым его носом. Он ответил после едва уловимой паузы:

— Нет, пока что ничего. Фермеры противятся. Но если меня поддержит мистер Грей, я, может быть, сумею что-нибудь сделать.

Когда деятельный мистер Грей, ничего не подозревавший о переполохе, вызванном в местном обществе его неучтивыми манерами и костюмом из грубошерстной ткани, пришел впервые в Честнат, он застал миссис Лэтам в саду. Она прогуливалась, опираясь на руку своей рослой дочери. За три дня, что Оливия была дома, больная больше набралась сил, чем за три предшествующих месяца. Девушка относилась к своим пациентам с удивительным участием и заботой; но таким больным, как ее мать, она с самого начала внушала, что по состоянию здоровья они ни в каком особом уходе и лечении не нуждаются. Слова Оливии были

проникнуты такой спокойной уверенностью, что больные и в самом деле начинали чувствовать себя лучше. В присутствии Оливии не было места гнетущей мнительности.

А Дженни, как всегда, веселилась. Она отправилась на летний бал к местной знаменитости — леди Хартфилд. Приглашены были обе сестры, но так как кто-нибудь из них должен был остаться с больной, Оливия, к немалой досаде отца, отклонила приглашение. Надо же когда-нибудь развлечься и его старшей дочери!

— Не волнуйся, папочка, — безмятежно сказала Оливия. — Дженни там интересно, а я только проскучала бы весь вечер.

Леди Хартфилд была довольна тем, что приехала Дженни, а не Оливия. Дженни нравилась ей, и она усердно расхваливала ее всем «подходящим женихам».

— Прелестная девушка! И собой хороша, и характер такой славный... Сестра ее тоже довольно мила, но, знаете, из тех, что носят башмаки на толстой подошве и увлекаются работой в трущобах и помощью бедным. Все это, разумеется, неплохо, но, по-моему, скромность и уважение к чувствам старших гораздо похвальней всех этих крайностей. Ну зачем благовоспитанной молодой женщине рисковать жизнью, выхаживая больных оспой? Правда, у Оливии никогда не бывало такого великолепного цвета лица, как у Дженни.

Замечание леди Хартфилд дошло до Оливии, и она рассказала о нем матери, когда священник вошел в сад. Он еще ни разу не видел Оливию в домашней обстановке и, вначале не замеченный ею, залюбовавшись, на минуту остановился: девушка спокойно и ловко поддерживала слабую женщину, по непокрытой голове ее скользили солнечные лучи, лицо светилось задорным оживлением, в то время как она шутливо передавала матери слова леди Хартфилд.

Когда коляска мистера Лэтама подкатила к дому, мать Оливии была уже в комнате, а сама Оливия сидела со своим другом под развесистым каштаном, погруженная в разговор о хворостях какой-то деревенской старухи. Потом они перешли на другую, не менее увлекательную для обоих тему и заговорили об отличительных особенностях и свойствах разных диких трав. Неожиданно священник отставил в сторону чашку с чаем и опустился на колени перед цветочной клумбой.

— Вот это удивительно! Как вам удалось заставить цвести дриаду в нашем климате? Ее так трудно выращивать! Какой же земли вы добавляли?

Дженни, возвращавшаяся с бала в самом радужном настроении и в своем самом нарядном платье, застыла от изумления на садовой дорожке,

глядя на сестру, которая стояла на коленях возле клумбы и с жаром беседовала об альпийской гвоздике с каким-то весьма подозрительным субъектом — помесью бродяги и священника.

— Что за странный тип! — воскликнула она, когда гость ушел. — И как не стыдно являться впервые в дом в таком жилете!

— Этого человека не волнуют подобные вопросы, — вмешался мистер Лэтам, — он христианский социалист — что это значит, я и сам толком не знаю, — и потому вряд ли разбирается в жилетах.

— Жилет у него самый обыкновенный, — невозмутимо заметила Оливия, собирая чайную посуду, — а вот костюм сшит из грубошерстной ткани. Так одеваются многие социалисты.

— А откуда тебе известны повадки социалистов, дорогая моя? — вмешался отец, чуть подняв брови.

— Я иногда посещала их собрания в Лондоне, — с безразличным видом ответила Оливия. — Дженни, когда пойдешь к себе наверх, не хлопай, пожалуйста, дверью. У мамы болит голова.

Взяв чайный поднос, она ушла в дом. Отец с помрачневшим лицом посмотрел ей вслед. Как хотелось ему хоть на один миг заглянуть в душу своей старшей дочери!

— Папа, — сказала Дженни, снимая нарядную шляпку и любовно поглаживая длинные страусовые перья, — не кажется ли тебе, что Оливия просто помешалась на своей ботанике? Этот невыносимо вульгарный молодой человек засиделся у нас так долго только потому, что она поощряла его нудные разговоры о крестовнике.

— О гвоздике, дорогая, а не о крестовнике. Если моя Дженни не видит в них разницы, то для ботаников она очень существенна.

— Ну пусть о гвоздике, не все ли равно? Этот молодой человек притворяется, что его интересует все на свете. А леди Хартфилд говорила мне сегодня, что у него ужасная репутация. Она говорит, что, если бы здесь знали, как он вел себя в Лондоне, ему бы никогда не получить этого назначения. Он бывал там на сходках забастовщиков, участвовал в стычках с полицией и вообще отличился в такого рода делах. Не кажется ли тебе, что ты должен предостеречь Оливию?

Брови мистера Лэтама опять поползли вверх.

— Милая Дженни, все мы с готовностью даем хорошие советы нашим ближним. Но беда в том, что Оливия сама не дает никому советов и не пользуется чужими. У каждого свои особенности. А что до молодого человека в грубошерстном костюме, то я предпочитаю слушать его разговоры о гвоздике, в которой он кое-что смыслит, чем терпеть

разглагольствования его предшественника о божественных истинах, в которых тот не смыслит ничего. И раз уж мы заговорили о добрых советах, дорогая, то я хочу посоветовать тебе прислушиваться побольше к словам сестры и поменьше к этой старой сплетнице Хартфилд. А теперь отправляйся к себе и надень что-нибудь приличное.

## ГЛАВА II

Мистер Лэтам был прав, полагая, что приезд Оливии многое изменит в доме. Однако перемены были нисколько не похожи на те, на какие он надеялся. Не вызвало сомнений, что здоровье и настроение миссис Лэтам значительно улучшились. Больная, измученная хроническим недугом, начала уже терять всякую надежду на выздоровление. Теперь она очнулась от своей апатии и вместе со всеми наслаждалась радостями летней поры. Разительная перемена произошла и с Дженни: она меньше занималась своей особой и уделяла больше внимания окружающим. А ведь Оливия никогда не упрекала ее; благотворное влияние старшей сестры объяснялось, очевидно, бессознательным воздействием сильной природы на более слабую.

И все же горькое разочарование камнем лежало на сердце отца. Дело было не в суровости Оливии, — наоборот, она была неизменно бодра и ласкова. Но в самой ее мягкости был налет чего-то профессионального, заученного, и это леденило душу одинокого старика. Как он мечтал о ее приезде; как томился и приучал себя к терпению; как внушал себе день за днем, год за годом, что Оливия приедет и поймет его наконец! А теперь, когда дочь приехала, она была от него еще дальше, чем прежде!

Он и не пытался сблизиться с ней — с самого начала было ясно, что это бесполезно. Через два дня после приезда Оливии он заложил коляску и отправился с дочерью на прогулку. Когда они проезжали среди благоухающих живых изгородей, он попытался сбивчиво и робко, как свойственно замкнутым людям, поведать ей о своем сокровенном горе. Она не ранила его сердце бестактностью, — нет, она выслушала его внимательно и сочувственно, с той безупречной и безликой заботливостью, какую проявляют опытные сестры милосердия у постели тяжелобольных. На другой день, спустившись к завтраку, он нашел возле своего прибора маленькие желудочные таблетки. И на этом его попытки сблизиться с Оливией закончились.

Что касается священника в грубошерстном костюме, то он посвятил

себя физическому воспитанию деревенских ребятишек и жил, окрыленный надеждой. Он уже давно понял, что покорить сердце Оливии Лэтам будет нелегко. Ничем не выдавая своих чувств, он решил действовать постепенно: сначала пробудить в девушке интерес к себе, потом уважение и наконец завоевать ее дружбу. Это ведь тоже много, даже если она его и не полюбит. После трех лет, как он ни старался, ему все же не удалось сделать из нее социалистку; человек серьезный и самостоятельно мыслящий, Оливия не была склонна к восторженности. Но она внимательно читала книги, которые он ей давал, и подолгу размышляла над ними. Когда они оставались вдвоем, она вступала с ним в бесконечные споры, подвергая тщательной и трогательно-наивной критике положительные и отрицательные стороны различных политических учений. «Ее будет не легко обратить, — думал Грей в начале их дружбы, — но за нее стоит бороться». Теперь, по истечении трех лет, он утешал себя той же мыслью.

Он приехал в Суссекс с твердым намерением не омрачать их дружбы своими личными переживаниями и надеждами. Как-то еще в Бермондсее он попытался объяснить с Оливией, но, подобно ее отцу, не встретил желанного отклика. Она проявила искреннее сочувствие — Оливия всегда проявляла сочувствие, — но так и не поняла, что его путанные, нерешительные слова были чем-то большим, нежели простым выражением товарищеских чувств и интереса к ее работе. Его излияния показались ей попросту излишними, ведь она и так не сомневалась в его добром расположении, а всякое ненужное упоминание о том, что и без слов ясно, всегда вызывало у Оливии чувство смутной неприязни. Но потом она вспомнила, что накануне он провел ночь в семье одного бедняка, защищая перепуганных детей от побоев пьяного отца. Очевидно, это сейчас и сказалось на состоянии Грея, — а то с чего бы ему заикаться и бледнеть? И своим ровным ласковым голосом Оливия уверила молодого священника, что, разумеется, она ценит его дружбу и что, конечно, она согласна называть его «Дик», раз ему так хочется. И тем же тоном спросила, не забывает ли он менять носки, когда ему случается промочить ноги.

Грей не возобновлял больше своих попыток. «С таким же успехом можно говорить о любви бесчувственной Бритомарте<sup>[8]</sup>», — возмущенно подумал он. И действительно, ее недогадливость в этом отношении было невозможно преодолеть.

Когда разразилась эпидемия оспы, Грей предложил свои услуги и с готовностью согласился заменить перепуганного священника, который был несказанно рад вырваться из охваченного поветрием города. Тяжелая работа и напряженная борьба с эпидемией были как нельзя более по душе

Грею. Но, помимо этого, ему хотелось быть поближе к Оливии в такую опасную пору. Теперь, когда Оливия спокойно жила дома, он тоже решил подыскать себе, хотя бы на время, более спокойную работу. Придется довольствоваться, думал он, сознанием ее близости и дружеского расположения. Очевидно, неммыслимо преодолеть это бесстрастное, нелепое упорство. Ведь ей хоть кол на голове теши — все равно ничего не понимает! Но если даже Оливия и поймет, что он хочет на ней жениться, то, пожалуй, воспримет это как оскорбление или как первые признаки размягчения мозга.

Но одно дело воздерживаться от объяснений в шумной суете городских трущоб, где каждый день, каждый час сталкиваешься с убогим бытом бедняков, и совсем другое — оказаться наедине с любимой в тиши цветущих долин. Решимости священника хватило лишь на три недели. Однажды он встретил Оливию у постели больного крестьянина. Потом они возвращались вместе домой по залитому солнцем лугу и беседовали о приходских делах. И вдруг он потерял голову. Они подошли к месту, где тропинка разветвлялась на две: одна убегала в открытое ячменное поле, другая вилась вокруг небольшой тенистой-рощи. Сквозь просвет в живой изгороди виднелись в зеленом сумраке леса мшистые стволы деревьев, заросли узловатого кустарника, стройные побеги наперстянки со склоненными чашечками цветов. Священник протянул руку.

— До свидания. Нам, кажется, в разные стороны.

— Вы спешите? А я собираюсь немного отдохнуть в лесу. Устала за день.

Она пролезла сквозь изгородь и села на срубленное дерево. Священник смотрел на нее, держась за ветвь. «Если я пойду за ней, — думал он, — то сваляю дурака, и она же будет презирать меня за это».

— Уходите? — рассеянно спросила Оливия. — Как жаль.

Она притянула к себе несколько побегов цветущей жимолости и, закрыв глаза, прижалась к ним лицом. Священник не шевелился. «Я сваляю дурака, — опять подумал он, — все любовники мира, вместе взятые, интересуют ее меньше, чем эта душистая веточка жимолости».

— Мне надо идти, — хрипло выговорил он.

Оливия улыбалась, наслаждаясь нежным прикосновением цветов, и Грей понял, что она уже забыла о нем. Стиснув зубы, он отвернулся, потом, разозлившись, перепрыгнул через изгородь и подошел к ней.

— Оливия, — сказал он, взяв у нее из рук цветы, — Оливия...

Она подняла голову. Выражение испуга на ее лице сменилось тревогой.

— Дик! Что случилось, Дик?

Священник задрожал от бессильной ярости.

— Оставьте вы хоть на минуту эту дурацкую зелень! Я и так знаю, что вам на меня наплевать, незачем подчеркивать свое равнодушие! С таким же успехом можно влюбиться вот в эту наперстянку! Вы похожи на бесполой водяной дух!

— Дик! — снова произнесла Оливия и, встав, взяла его за руку. Он вырвался.

— Можете не щупать мне пульс! Я не болен оспой. И не сошел с ума. Я просто жалкий бедняк, который целых три года сохнет по девушке, а она столь бесчувственна, что ничего не замечает!

Он сел, закрыв лицо рукой.

— Простите меня, Оливия. У вас, конечно, добрые намерения, но вы так невыносимо сдержанны. Любая женщина на вашем месте поняла бы, как это мучительно для меня.

Он сорвал ветку жимолости и, кусая губы, протянул ей.

— Извините, что испортил ваши цветы. Это очень дурно с моей стороны. Но не так-то приятно волочиться за хвостом Бритомартовой лошади или запутаться в завязках халата, в который облачилась современная Бритомарта!

Оливия отступила назад и молча смотрела на него. Он опустил глаза, не в силах вынести ее пристального, недоуменного взгляда. Ветка жимолости упала на землю.

— Дик, почему вы не сказали мне раньше? Я и понятия не имела. Почему вы молчали?

Он засмеялся.

— Я пытался сказать, дорогая. Два года тому назад. Но до вас ничего не дошло. И не удивительно: вам не понять таких вещей. Напрасно вы огорчаетесь, я наперед знаю, что вы мне ответите, — что вы не любите меня. Но я вас так люблю, Оливия, что готов ждать бесконечно. Двадцать лет, если прикажете, лишь была бы надежда...

— Но, Дик, надежды нет.

Голос его упал.

— Вы уверены в этом? Вполне уверены? Мы всегда были добрыми друзьями, Оливия, и я думал, что со временем...

— Нет, нет! — вскричала она в отчаянии. — Не в этом дело.

Некоторое время она молчала, опустив глаза, потом села рядом с ним.

— Вы не понимаете. Если б я только знала, то давно сказала бы вам. Я люблю другого.

Дик судорожно глотнул воздух. Другого... А он-то сравнивал ее с Бритомартой!

— Другого, — сказал он вслух. — И вы собираетесь выйти за него замуж?

Оливия ответила не сразу.

— Мы помолвлены. И я выйду только за него.

Священник бесцельно ворошил палкой мох. Спустя минуту он встал и невнятно сказал:

— Я лучше пойду. До свидания...

И вдруг она разразилась слезами. Вид плачущей Оливии настолько не вязался с его представлением о ней, что вконец растерявшийся Дик забыл даже о жалости к самому себе.

— Не надо, Оливия, — сказал он удрученно, — не надо! Какой же я эгоист и дурак, что довел вас до слез. Я...

Он замолк, подыскивая слова, и наконец неуверенно вымолвил:

— Желаю вам счастья.

Но Оливия уже овладела собой.

— Мне счастье вряд ли суждено, — ответила она, вытирая слезы. — Я от души сожалею, что заставила вас страдать. Но в этом мире не сделаешь, кажется, и шагу, чтобы не задеть чьих-либо чувств. Для моего отца это будет ужасным ударом. Но я не могу иначе.

Оливия провела рукой по глазам. Ею овладело чувство крайней усталости. Как сделать, чтобы Дик все понял?

— Мы помолвлены с прошлой осени. Вы первый, кому я рассказала об этом. Рано или поздно родные тоже узнают, но сейчас я ничего не буду им говорить... Все это так горько и безнадежно, и они никогда не смогут понять, никогда... И потом, мама начнет, конечно, плакать. Нет, сейчас у меня не хватит сил, надо прежде привыкнуть ко всему самой.

Она замолчала, глядя прямо перед собою. Священник снова сел.

— Нельзя ли чем-нибудь помочь вам, Оливия? В чем же помеха? Ведь вы... любите его?

— Люблю ли я его! Если бы не любила... — Она подняла голову. — Как бы мне хотелось, чтобы вы поняли. Ведь вы не из тех социалистов, которые только болтают. Видите ли, он русский... а вы должны знать, что это значит, если он человек мыслящий.

— Русский? — растерянно переспросил священник. И вдруг понял: — Неужели нигилист?

— Нигилист, если вам угодно. Нелепое прозвище. Так теперь называют в России неугодных правительству людей.

— Он живет в Англии? Эмигрант?

— Нет. Но он пробыл здесь около года. Изучал наши новинки в машиностроении по поручению одной петербургской фирмы, где он работает. Теперь он уехал назад. И я так и не знаю... — Она посмотрела на него страдальческими глазами. — Ему не мешали выехать из России и вернуться обратно. Но он все еще под полицейским надзором,. Тамошние власти полагают, что оказывают ему величайшую милость, разрешая жить в Петербурге. И кто знает, что они еще придумают? Это все равно что жить на вулкане.

— Но ведь он не под следствием?

— Пока еще нет. Будь это так, я не рассказывала бы вам о нем. Он провел два года в тюрьме и вышел оттуда поседевший, с больными легкими. Ему не вынести еще одного заключения. Поражены оба легких. В России в тюрьмах для политических свирепствует чахотка.

Голос Оливии дрогнул, и сердце Дика сжалось. В этот миг он был чужд каких бы то ни было эгоистических побуждений.

— Как хорошо, что вы так мужественны, Оливия. Удел ваш не легкий. Она покачала головой.

— Я совсем не так мужественна, как вы полагаете. Но у меня нет другого выхода.

— Могу я узнать его имя?

— Владимир Дамаров. Он только наполовину русский. Среди его предков есть итальянцы и датчане.

— Дамаров? — переспросил священник. — Дамаров... Ах да, помню, новейшие достижения в технике.

Ну конечно.

Оливия бросила на него быстрый взгляд.

— Вы его знаете?

— Видел один раз. Мой старый приятель — небезызвестный вам художник Том Бэрни — встретил его как-то в Лондоне и был до того очарован формой его головы, что решил во что бы то ни стало нарисовать ее. Он раздобыл билет на открытие индустриальной выставки только для того, чтобы снова встретить Дамарова, и заставил меня пойти с ним. Он делал вид, будто разговаривает со мной, а сам тем временем рисовал Дамарова. Разве вы не видели пастели, которую он сделал? Ах да, вы же из-за оспы не бывали в ту зиму на выставках. Эта пастель — одна из лучших вещей Бэрни. Он назвал ее «Голова Люцифера».

Оии долго и непринужденно беседовали. Впервые в жизни Оливия не старалась щадить чувства других и, обрадованная тем, что может наконец

облегчить душу, свободно и без утайки рассказывала о своем возлюбленном, о его горестях, подорванном здоровье, загубленном таланте. Она не замечала, что собеседнику тяжело ее слушать, и бедный Дик лишь стискивал зубы, когда Оливия бессознательно медлила, произнося имя Владимира. Но любой мужчина, выслушав этот рассказ, забыл бы о ревности.

Владимир Дамаров происходил из типичного для России класса мелкопоместных дворян, живших из века в век праздной, бездумной жизнью. Отмена крепостного права вынудила их искать самостоятельного заработка. Дамаров, одаренный от природы способностями к рисованию и лепке, был пламенным поклонником пластического искусства и мечтал стать скульптором. Но еще в юности он попал под влияние некоего Карола Славинского, поляка, студента медицинского факультета. Тот был только двумя годами старше Владимира, но уже активно участвовал в революционном движении. У Славинского была двадцатилетняя сестра Ванда, тоже революционерка. Семья их принадлежала к так называемым «обреченным семействам», для которых участие в польском освободительном движении было традицией, передававшейся из поколения в поколение. Брат и сестра не стали бунтовщиками, они родились ими. Это само собой разумеется — раз они были Славинскими.

Владимир стал их близким другом и помощником и в двадцать два года обручился с Вандой. Едва брат Ванды успел получить диплом врача, как полиция арестовала всех троих. После двух лет одиночного заключения Владимира освободили за недостатком улик. При этом ему дали понять, что своим освобождением он обязан неким друзьям, которые успели вовремя сжечь компрометирующие его бумаги. Карола Славинского, чья виновность не вызывала сомнений, отправили уже по этапу в Сибирь. Его осудили на четыре года каторжных работ в Акатуе — поселении для ссыльных. О Ванде ничего не было известно. В течение полутора лет от нее изредка приходили письма; потом она замолчала, и друзьям так и не удалось выяснить, жива ли она.

Владимир прилагал отчаянные усилия, чтобы напасть на ее след: подкупал мелких чиновников, обивал пороги в полицейском управлении, писал прошения высокопоставленным лицам. Но получал лишь уклончивые или противоречивые ответы. А через четыре месяца история, которую власти пытались замять, получила огласку. Ванда была красива, а новый тюремщик, назначенный примерно через год после того, как она попала в тюрьму, оказался падох до хорошеньких девушек. Ему не удалось учинить над ней насилия, но она не выдержала страшного нервного

напряжения и кошмара бессонных ночей. Раздобыв кусок стекла, она ухитрилась после нескольких неудачных попыток перерезать себе горло. С тех пор полиция неустанно следит за Владимиром. В поисках заработка он был вынужден стать чертежником. Легкие его разрушены, нервная система расшатана.

— А брат девушки? — спросил Дик.

— Его амнистировали, когда он отбыл половину срока, и сейчас он работает врачом в русской Польше. Считается, что власти проявили к нему величайшую милость, не оставив его навсегда в Сибири, но на самом деле об этом позаботились влиятельные родственники Карола.

В Петербург ему разрешают приезжать очень редко, и поэтому они с Володей сейчас мало встречаются. Кроме того, оба они бедны и не имеют средств на частые разъезды. Но все равно они близкие друзья.

Часы на церковной колокольне пробили шесть. Оливия вздрогнула и словно очнулась.

— Уже шесть часов! Мама, наверное, заждалась меня.

— А я опоздал на спевку церковного хора. Ваша мать обещала дать мне сборник старых гимнов. Пожалуй, пойду с вами и возьму его.

У садовой калитки им встретился почтальон с конвертом в руке.

— Вам письмо, мисс Оливия.

Лицо ее радостно вспыхнуло при виде конверта, и еще до того, как Дик увидел на марке двуглавого орла, он уже знал, от кого письмо. Внезапно его охватило возмущение: не ужасно ли, что она так безрассудно губит свою цветущую молодость?

— Я пойду за книгой, — проговорил он и пошел к дому. Оливия погрузилась в чтение письма.

Выйдя с книгой из дома, Дик решительно направился к калитке и быстро прошел мимо каштана, под которым стояла Оливия. Она держала в руке раскрытое письмо, но не читала. И даже не шевельнулась, услышав звук его шагов по усыпанной гравием дорожке.

«Любовное письмо, — подумал он, — зачем же мне мешать?»

Через минуту она догнала его на дорожке.

— Дик! Подождите! Мне надо поговорить с вами.

Взглянув на нее, он сразу понял, что письмо принесло ей дурные вести.

— Дорогая, что случилось? Он не...?

— Нет, нет, он не арестован, но очень болен. У него плеврит. Письмо не от Владимира, а от его друга, который счел своим долгом известить меня. Я должна сейчас же ехать.

— Куда? В Петербург?

— Да. Чтобы ухаживать за ним. Прошу вас, Дик, отправьте от моего имени телеграмму. Вот адрес. Ах нет, не то, это по-русски. Я сейчас перепишу. Телеграфируйте так: «Выезжаю ближайшим поездом». Пишите по-французски. Папе придется взять для меня денег в банке. Паспорт я выправила заранее, на всякий случай.

— Но чем вы сможете помочь там? Вы ведь даже не знаете языка.

— Немножко знаю. Я изучала его некоторое время. А теперь мне надо пойти к отцу и объяснить ему...

— Все?

— Нет, конечно, не все. Сейчас я не могу рассказать им обо всем. Я только скажу, что должна немедленно выехать в Россию к больному другу. Вот вам адрес для телеграммы. Прощайте, дорогой Дик. Мне пора.

— Не прощайтесь. Я узнаю расписание поездов и забегу к вам часов в девять вечера, чтобы помочь с багажом и всем остальным. Вы ведь знаете, я замечательно пакую вещи. И я...

Он схватил ее руку, неожиданно припал к ней губами и ушел, оборвав себя на полуслове.

## ГЛАВА III



Оливия вышла из вагона на людную платформу. Ее поразили духота и какой-то кислый запах; раздавались непонятные окрики, непрерывно двигались толпы народа, и над всеми возвышалась внушительная фигура в голубом мундире. Пока она пыталась при помощи заранее заученных фраз столкнуться с носильщиками, которые говорили все сразу, позади нее послышался глубокий, грудной голос:

— Мисс Лэтам?

Высокий мужчина с рыжеватой бородой протягивал ей руку.

— Доктор Славинский. Володя просил меня встретить вас. Пожалуйста вашу багажную квитанцию.

Подождав, пока не отъехали от вокзала, Оливия спросила:

— Как состояние Володи?

— Сегодня температура высокая. Но, возможно, это от волнения, вызванного вашим приездом. Приступ довольно тяжелый, но бывали и похуже.

— Сиделка у него есть?

— Да, но он невзлюбил ее и вчера ей отказал. Очень хорошо, что вы приехали.

— Я не знала, что вы в Петербурге.

— Я приехал только вчера. Не мог добиться разрешения раньше. К счастью, мой дядя занимает высокий пост в здешнем министерстве путей сообщения и время от времени достает мне разрешение.

— Вы живете в одном из польских фабричных городов, не так ли?

— До недавнего времени я жил в Лодзи, но полиция выслала меня, заподозрив, что я причастен к усилившемуся там движению среди рабочих. Последнее время я много скитаюсь по свету.

Он говорил по-английски свободно, но с сильным иностранным акцентом и с той протяжной, певучей интонацией, которая похожа на литовскую. С годами привычки его, очевидно, не менялись: «скитания по свету», на которые он нередко бывал обречен в различные периоды своей жизни, не излечили его от польской манеры акцентировать в словах предпоследние слоги.

— Непосредственной опасности, по-моему, нет, но ему нужен тщательный уход. Когда у него начался плеврит, он был сильно переутомлен.

Некоторое время они говорили о болезни Владимира.

— А с чего все началось?

— С простуды, как всегда. В здешнем климате ее трудно избежать. А он не обращает на это внимания, особенно когда на него находят приступы черной меланхолии.

— И сейчас тоже? Неужели сильнее, чем обычно?

— Да. Все вспоминает прошлое, которое давно пора бы забыть. Вот почему вы особенно нужны ему сейчас, если только у вас крепкие нервы. Вы принадлежите его будущему, а не прошлому. И вы ведь не из тех, кто легко теряет голову?

— До сих пор ни разу не теряла. Но, наверно, могу и потерять, если на то будут веские причины.

Доктор Славинский посмотрел на широкую спину кучера, заслонившую вид на дорогу.

— Вы приехали в страну, где никто не гарантирован от подобных веских причин. Здесь все может случиться. Надеюсь, ничего серьезного не произойдет, но все возможно. Не забывайте, что только вы можете поправить здоровье Володи и вернуть ему душевный покой. И вот что еще: в этой стране часто сталкиваешься с отвратительными явлениями. Что бы вам ни пришлось увидеть — не плачьте и не выходите из себя. Здесь это нисколько не помогает.

— С тех пор как я стала взрослой, я едва ли плакала больше двух раз. И я очень редко выхожу из себя.

Он пытливо посмотрел на нее. Оливия, поглощенная мыслями о женихе и его болезни, видела в своем спутнике лишь доктора, лечившего Владимира; неожиданно она почувствовала на себе пристальный, испытующий взгляд этого великана и, вероятно, смутилась бы, не будь его взгляд так бесстрастен.

— Что ж, прекрасно, — проговорил он и медленно отвел глаза. — И не пугайтесь без причины. Обещаю не скрывать от вас, если действительно возникнет опасность.

— Вы имеете в виду его болезнь?

— Его болезнь и все прочее также.

Добравшись до дому, они застали больного в состоянии лихорадочного возбуждения. Глаза его беспокойно блестели, на щеках выступили красные пятна. Опытный глаз Оливии сразу заметил, что он страдает от болей, но изо всех сил старается это скрыть. Слабым, измученным голосом он пытался уверить ее, что никогда так хорошо себя не чувствовал, а вся его болезнь — выдумка Карола.

— Карол не дает мне слова вымолвить. Это все равно что тягаться силами с паровым катком. Я так давно ничего о нем не слышал, что, боясь совсем потерять его из виду, написал ему, будто умираю. И вот вчера утром он ввалился, — ну, настоящий медведь! И теперь командует мной вовсю. Но ты, Оливия! Подумать только, какой ты проделала путь! Ты не должна, родная, так тревожиться из-за меня и моих легких. Не правда ли, Карол?

Оливия обернулась. Карол молча вышел из комнаты и беззвучно притворил за собой дверь, оставив их вдвоем. Схватив Оливию за руку, Владимир привлек ее к себе и, жадно целуя, зашептал отрывистые, полные любви слова. Оливия отодвинулась.

— Послушай, Володя, если ты будешь волноваться, я уйду. Говори поменьше, тогда я посижу возле тебя. Если сильно болит грудь, я

приготовлю новый компресс.

— Ничего у меня не болит, когда я смотрю на тебя, радость моя. Но компресс все-таки приготовь.

Она сделала все, чтоб облегчить его страдания, и села рядом. Владимир взял ее руку. Он лежал, стиснув губы, крепко сжимая ее руку в своей. Видимо, ему было очень худо. Спустя немного он заговорил, быстро, бессвязно, задавая множество вопросов, и, не дожидаясь ответа, опять что-то бормотал. Температура резко подскочила, начался бред. Оливия осторожно высвободила свою руку и, выйдя из комнаты, отправилась разыскивать Карола. Она нашла его в маленькой гостиной. Он читал медицинский журнал; длинные ноги его были вытянуты под столом, одна рука запущена в рыжеватые густые волосы. Карол Славинский не был в действительности таким рослым человеком, каким казался с первого взгляда. Но размеренная медлительность движений, большая голова и массивные плечи придавали ему по временам какой-то особенно громоздкий вид. Вся его внешность настолько не отвечала утонченному, изнеженному и одухотворенному облику, который Оливия всегда приписывала полякам, что даже теперь, когда она была так взволнованна, несоответствие это бросилось ей в глаза. «Словно статуя скандинавского бога, только незаконченная», — мелькнуло у нее в голове.

— А я как раз собирался позвать вас к ужину. Все уже почти готово, — произнес Карол, подняв глаза.

— Прежде взгляните, пожалуйста, на Володю. Мне кажется, ему надо дать снотворное.

Когда больной наконец уснул, Карол накрыл в соседней комнате стол и, пока Оливия ела, приготовил ей постель.

— Сегодня ночью я подежурю около него сам, а завтра — вы. Служанка не ночует здесь, но на первом этаже живет жена дворника. Она славная женщина и обожает Володю, потому что в прошлом году он помог ей выходить больного сына. Она вам всегда поможет, если что-либо потребуется. Служанка приходит в восемь утра и готовит завтрак.

И Оливия целиком отдалась привычным для нее обязанностям. Тяжелый приступ прошел, но больной был так изнурен, что нуждался в самом тщательном уходе. Карол смог пробыть с ними всего четыре дня: у него было слишком много важных дел, ему и так едва удалось вырваться. Оливия хотела как можно скорее вывезти Владимира из душного, пыльного города на свежий воздух, но Карол советовал выждать еще три недели — переезд будет очень утомительным.

Было решено, что они поедут в обедневшую усадьбу Дамаровых,

затерявшуюся в глухом озерном крае у истоков Волги. Там жили его старая незамужняя тетка и два брата. У старшего из них — вдовца — были дети, младший брат был холост. Тетка прислала Оливии письмо, умоляя ее приехать с Володей в имение, чтобы его родные могли познакомиться с ней до ее возвращения в Англию. С трудом выводя русские буквы, Оливия ответила согласием. Карол тоже пообещал приехать туда на летний отпуск.

В конце июля она выехала из города с уже выздоравливающим больным. В поезде он чувствовал себя хорошо. Но трехдневная тряска по отвратительным дорогам, в неудобной коляске, через леса, болотистые луга и поросшие кое-где кустарником пустоши да еще две ночи в наскоро устроенных постелях на грязных постоянных дворах совсем измотали его. Они проезжали через убогие деревушки, где царили голод и болезни. Им не давали проходу изможденные нищие; протягивая руки, они выпрашивали подавание заунывными гнусавыми голосами. Казалось, что в этих деревнях процветают лишь попы, трактирщики да рассадники заразы — микробы. А за деревнями опять тянулись пустынные необозримые поля.

На полпути, в каком-то городишке, их встретил Карол, и дальше они добирались все вместе. На третий вечер путники подъехали к большому пустынному озеру, окаймленному густым сосновым лесом. Из зарослей водяных лилий поднялась стая диких уток, и хлопанье их крыльев вызвало улыбку радости на измученном лице Владимира.

— Это наше озеро. Скоро ты увидишь и дом. Я говорил тебе, что при всей нашей бедности мы богаты дичью и водяными лилиями.

— А ранней весной, верно, ландышами, судя по этим листьям.

— Да, и еще соловьями и полевыми цветами. Вот, пожалуй, и все наши богатства, не считая деревьев.

Взгляд его с любовью остановился на темной чаще леса.

— Ты скромничаешь, Володя, — лениво и медлительно протянул Карол. — Не забудь упомянуть еще волков, медведей и змей.

— Здесь много змей? — спросила Оливия.

— Много, причем самых разнообразных. Например, ростовщиков, трактирщиков... Потом здесь великое множество преступников, идиотов, малярийных комаров, паразитов, всевозможнейших заболеваний. Богатство, как видите, безмерное.

Владимир вспыхнул. Из любви к своему суровому краю он был готов поссориться даже с лучшим другом. Они не раз спорили на эту тему. Практичная натура Карола не могла примириться с непроизводительным использованием земельных угодий, лесов, рабочей силы. Он горячо доказывал, что надо прежде всего осушить болота, очистить леса, привести

в порядок дороги, а уж потом любоваться красотами природы. Но Владимир, на словах соглашавшийся с другом, в глубине души оплакивал бы каждое спиленное дерево.

Словно проклятье поразило здешний край: лютые морозы одну половину года, малярия — другую; постоянный голод, запустенье, набеги хищных зверей. Огромный военный лагерь, вот уже более ста лет расположенный у западной границы округа, препятствовал общению крестьян с внешним миром. Они были отравлены физически и духовно столетиями рабства и насилия, а раскрепощение означало для них лишь то, что вместо помещиков и старост их стали обирать чиновники и ростовщики. Кроме крестьян, малочисленное население составляли евреи — беднейшие выходцы из гетто, татары, торговавшие вразнос, барышники-цыгане, пронырливые немцы и разорившиеся мелкопоместные дворянчики. Что касается последних, то привычка к крепостному укладу оказалась столь же губительна для их душ, как отмена его — для их кошельков, и теперь они влачили нищенское праздное существование, такие же жалкие, как их бывшие крепостные, и подчас такие же невежественные.

Но в глазах Владимира это было прекраснейшее место на земле. Если он и познал скромные радости, если его и окрыляли когда-то надежды — то это было именно здесь. Здесь он бегал беспечным ребенком, здесь зародились сладостные мечты стать скульптором, здесь, втайне от всех, он впервые попытался лепить. Все это было давно, задолго до того, как на него обрушились удары судьбы, и, хотя прошлые заветные грезы сменились теперь совсем иными, он сохранил к родному краю ревнивую привязанность. Здесь все было прекрасно: гулкое эхо в лесных чащах; нехоженная густая трава на болотистых лугах, расцвеченная золотистыми и голубыми ирисами и незабудками; девственный снежный покров зимой; чашечки лилий летом; прозрачные сплетения тумана над озером и папоротниками; алеющий закат над красноватыми стволами сосен. Даже все самое неприятное — стужа, малярия, губительные трясины, скрытые предательской болотной травой, кружение хищных ястребов в небе, вой волков по ночам — все было в его глазах неотъемлемой частью грозного и сурового великолепия этого мрачного края.

Оба друга все еще спорили, когда дорога, огибающая озеро, привела их к холму, круто поднимавшемуся над водной гладью. Аллея высоких лип в цвету вела от озера к усадьбе, стоявшей на вершине холма. Невысокий, неправильной архитектуры дом, сложенный из грубо обтесанных бревен, с покосившимся крыльцом и обветшалой верандой, еще сохранял, несмотря

на свой запущенный вид, жалкие остатки благопристойности и внушительности. Казалось, он надменно возвышается над убогим селом, притулившимся внизу у озера, и презрительно говорит: «Да, люди, жившие в моих стенах во времена крепостничества, могли неделями не мыться и не соблюдать элементарнейших правил приличия, но зато они были так аристократичны, что считали унижительным обслуживать себя сами, когда для этого было достаточно высечь или припугнуть любого из рабов». Многочисленные службы вокруг барского дома — людская, кухня, баня, сарай, погреба — еще больше подчеркивали мнимое величие усадьбы. Конюшни были предусмотрительно выстроены поодаль от дома, чтобы крики избиваемых крепостных не беспокоили чувствительный слух дам. Из той же предупредительности по отношению к нежному полу высокие деревья скрывали от посторонних глаз небольшое строение позади конюшен. Домик этот, отведенный теперь для Владимира и Карола, назывался в старину «павильоном» и предназначался для очередной наложницы всесильного крепостника. Поскольку таковой бывала обычно простолюдника, а не чувствительная дворянка, то считалось, что крики и стоны, доносившиеся из конюшни, не будут нарушать ее спокойствия. В этом особняке очередная избранница помещика — какая-нибудь привезенная из города белошвейка-француженка или цирковая наездница, а чаще всего жена или дочь бесправного крестьянина — проводила в томительном безделье дни своей юности, жевала дешевые сладости и толстела. А потом, как только в волосах ее появлялась проседь или внимание господина привлекала новая жертва, ее выгоняли прочь. Если она была нездешняя, то уходила в ближайший город, выклянчивая по пути милостыню, а если крепостная — то перебиралась на житье в грязную, людскую и до конца дней своих выполняла самую черную работу. Хозяйка усадьбы не давала ей прохода попреками, и если несчастная пыталась роптать, то попадала, в свою очередь, на конюшню.

Карол указывал Оливии на различные постройки и объяснял, для чего они первоначально предназначались. Он взбирался на холм пешком, чтобы облегчить подъем утомленным лошадям, и молча слушавшая Оливия последовала его примеру. Телега двигалась рядом, и Оливия смотрела на лицо Владимира, озарявшееся тихой радостью при виде каждого знакомого дерева. Глядя на подвижные, выразительные черты Владимира, она не могла не удивляться жестокой иронии судьбы, сделавшей такого впечатлительного человека наследником этого обреченного имения.

Старая тетушка и пятеро детей стояли на крыльце, ожидая гостей. Оба брата еще не окончили работу в поле. Тетушка, женщина добрая и

недалекая, увлекалась религией и варкой варенья. Она была бесконечно предана Владимиру, хотя и побаивалась его немного. В глубине души она горько сетовала на «городских умников», вовлекших ненаглядного Володеньку «в беду». «Конечно, — думала она, — добра от правителей ждать не приходится, но терпеть их все же надо, как терпишь комаров и волков, раз уж богу было угодно создать этих тварей. Неприятностей от них куча, это верно, но такова уж их природа, так что роптать — грех, а сопротивляться — того хуже». Все это она без обиняков выложила Каролу, когда он впервые посетил Лесное. К великому ее удивлению, он полностью с ней согласился. От неожиданности она расцеловала его в щеки и перекрестила по православному обычаю, хоть он и поляк, католик, а значит — нехристь. С тех пор она любила его не меньше родных племянников, но ведь и он был «городским умником», и с этим она не могла примириться.

Но по отношению к Оливии тетушка не знала снисходительности. Мало того, что эта заморская девица обручилась с Владимиром и он готов ради нее забыть своих родных, но она еще и иноземка, басурманка и, должно быть, — о ужас! — студентка! Этим страшным словом тетушка клеймила тех «пропащих» людей, которые читают непонятные книжки, не ладят с полицией и не крестятся во время грозы. И что хуже всего — Оливия была англичанкой! Тетушка, за всю жизнь выезжавшая из Лесного всего три раза — два раза в Москву и один в Петербург, — никогда не видела англичан и судила об Англии и ее обитателях по англофобским статьям в русских газетах. Она заранее старалась представить себе, как выглядит Оливия, и возникавшие перед ней образы были один причудливей другого: то это была соблазнительная сирена — губительница неосторожных мужчин (как в пошлых романах, которыми она зачитывалась), то «лохматая нигилистка» — постоянная мишень для нападок реакционных газет, то рыжее, большеротое страшилище в очках, какими обычно изображались англичанки на карикатурах.

Она встретила нежеланную гостью холодным поклоном, вызвавшим улыбку у присутствующих и совсем не замеченным Оливией, которая тотчас же отправилась переодеваться, решив, что тетушка, очевидно, стесняется посторонних. Вечером, когда оба брата вернулись домой, дети уже спали, оживленная болтовня тетушки была внезапно прервана вежливым, но решительным замечанием:

— Володя, тебе пора спать.

— Как, без ужина? — вскричала старушка. — Но я еще и не нагладелась на него толком! И братья только что пришли! Нет, нет, пусть посидит.

— Прошу извинить меня, — сказала Оливия на ломаном русском языке, — но я выполняю предписание доктора Славинского.

Оливии, очевидно, и в голову не приходило, что кто-то станет ей прекословить. Никто и в самом деле не отважился возражать. Родственники молча смотрели, как она переставила все по-своему в комнате больного и накормила Владимира не тетушкиным ужином, который сочла для него неподходящим, а тем, что привезла с собой. — А теперь ему нужен покой, — сказала она, и все покорно вышли из комнаты.

Карол тем временем курил на веранде, наслаждаясь красотой и запахом цветущих лип. Он знал, что в его присутствии нет необходимости: даже полчища напористых тетушек и братцев не заставят Оливию нарушить предписанный им Владимиру режим.

— Какая она... властная, — сказала тетушка, выходя на веранду. Складка озабоченности залегла у нее меж бровями. — Зато, правда, не суетливая. Как по-вашему, Володенька будет с ней счастлив? Должен же господь — прости меня, грешную, — и ему хоть немножко счастья послать.

Она вздохнула и перекрестилась. Карол вынул изо рта папироску и выпустил облачко дыма.

— Оливия хорошая девушка, — проговорил он не спеша, своим глубоким голосом. — Не тревожьтесь на этот счет, тетенька, она, право же, славная.

Со стороны скупого на похвалы Карола это был весьма лестный отзыв, и старушка успокоилась. Они сидели на веранде, слушая шум листвы, пока сзади не раздался голос Оливии.

— Доктор Славинский, Володя хочет поговорить с вами.

Карол встал и ушел. Тетя Соня посмотрела на Оливию. Свет из окна падал на ее волосы и спокойное, серьезное лицо.

— Милочка... — начала неуверенно старушка и умолкла.

Оливия повернула к ней голову.

— Вам холодно? Может быть, принести платок?

Тетя Соня смутилась. Она чувствовала себя неловко, но не знала почему.

— Нет, — ответила она, вставая. — Пойду в комнаты. Вы очень добры, что подумали об этом.

Она церемонно поклонилась, но когда Оливия открыла перед ней дверь, вдруг неожиданно встала на цыпочки и поцеловала девушку в щеку.

Спустя немного Карол вернулся на веранду. Оливия была одна, она смотрела на темные очертания лип. После долгого молчания он произнес, словно продолжал начатый разговор:

— Уверяю вас, ничего страшного нет. Просто его утомил переезд. А что касается гадкой, нездоровой среды, из которой он вышел, — то тем больше ему чести, что он не поддался ее влиянию.

Лицо Оливии прояснилось. Она начала уже привыкать к тому, что Карол каким-то образом угадывал ее мысли и отвечал на них. Присутствие человека, понимавшего ее даже тогда, когда она сама себя не понимала, скрашивало ее пребывание в этой чужой, непонятной стране.

## ГЛАВА IV

— Володя! Владимир! Володя! Ау!

Старый крестьянин, который сидел с женой на берегу озера и плел лапти, поднял подслеповатые глаза.

— Владимир Иванович в павильоне. Сидят там с глиной и дохлой птицей.

— Дохлой птицей?

— Да, барыня, с этим, как бишь его... соколом. Петр Иванович подстрелили его, думали надергать перьев из хвоста да дать заморской барышне, что к вам пожаловали, для шляпы. А та не захотела, говорит — жалко убивать вольных птиц. Больно жалостливы стали ноне господа. Ну вот Владимир Иванович и снесли птицу в павильон. Вчерась да сегодня все лепят ее из глины.

Тетя Соня осторожно добралась по топкому берегу озера до тропинки, ведущей к павильону, где безраздельно распоряжался теперь Владимир. Мужик с ленивой усмешкой смотрел на старушонку, с трудом взбирающуюся наверх.

— Ну и дела! — бормотал он, продолжая плести лапти. — Нешто это господа? Белые ручки глиной мажут, сами у себя на посылках, пешью к больным ходят. Не те времена пошли, мать, не те времена.

Он засмеялся и, хитро прищурившись, посмотрел на жену.

— Ишь, за больными ходят... А кто его знает, каким зельем поит их эта аглицкая ведьма? Верно, Параша? Старуха понимающе кивнула головой, и старик продолжал:

— Вон сколько хворых завелось в Бородаевке! Эта аглицкая ведьма с тем заморским лекарем ездили туда и набрехали невесть чего: дети мрут-де оттого, что коровники у нас рядом с колодцем и в дождь туда текет навозная жижа. Придумают тоже!

— Небось сами и отравили колодец.

— А может, накликали на ребят порчу. От этих нехристей всего можно ждать. На них и креста-то нет.

Старуха засмеялась:

— И чего это она с энтим дохтуром в лесу вдвоем делают? Я своими глазами видела непутевую девку на озере: гребла, ровно мужик, да еще простоволосая!

— А это пугало огородное сидит там наверху, мнет глину да знай лепит всякую нечисть. Думает, он энтот девке нужен. Как же, держи карман шире! Ох, уж эти мне господа!

Оба засмеялись.

Павильон был расположен чуть повыше, чем остальные строения. С трех сторон его окружали деревья, но с юга открывался чудесный вид на лес и озеро. Дверь была распахнута, и тетя Соня, остановившись на пороге, заглянула внутрь. Владимир, одетый, по русскому обычаю, в кумачовую рубаху, перехваченную кушаком, стоял у деревянной скамьи и лепил из глины. На столе лежал мертвый сокол, его огромные крылья были распростерты. Незаконченная работа Владимира великолепно передавала мощь птицы, но на тетю Соню это не произвело никакого впечатления. Она и раньше видела его за лепкой и всегда сожалела, что «пачкотня» стала любимым занятием Владимира. Однако с тех пор, как утешитель Карол внушил ей, что карты или водка были бы худшим злом, она примирилась с глиной. «В конце концов у каждого мужчины свои причуды, — думала она, — и слава богу, если это что-нибудь дешевое и безвредное». Тень тетушки упала на скамью, и Владимир поднял голову.

— Тетя Соня!

— Голубчик, не стой на сквозняке. Опять простудишься.

— Я люблю свежий воздух, тетушка, и этот вид, особенно в такие погожие дни.

Он вытер руки и сел на подоконник, глядя на озеро, в котором отражались плывущие по небу тучи.

— Оливия еще не пришла?

— Нет. Она весь день в деревне. Там кто-то сильно расхворался.

— Карол с ней?

— Да, его вызвали туда рано поутру, а после завтрака он прислал за Оливией. Просил помочь. Оба даже не обедали. Нечего сказать, хорош у них отдых.

— Отдых, конечно, неважный. Но оба они крепкие, здоровые люди и любят эту работу. Пока Карол с Оливией, я за нее не беспокоюсь, как бы много она ни работала. Но когда он уедет, придется и ей не ходить в

деревню. Мужики считают ее колдуньей, и, если в деревне что-нибудь случится, могут быть неприятности.

Тетя Соня устроилась поудобней в кресле. Она пришла сюда поболтать часок-другой с любимым племянником. Ей и в голову не приходило, что она оторвала Владимира от работы в самую решающую для него минуту. Он вымыл руки, накрыл мокрой тряпкой глину и снова сел. Чтобы не обидеть тетушку, он улыбался, стараясь скрыть от нее свою досаду: если бы его оставили в покое еще хоть на полчаса, он одолел бы этот проклятый изгиб левого крыла.

— Ну, тетенька, что у нас нового? — весело спросил — Наверно, куча новостей, ведь я не видел вас с самого завтрака.

— Да разве ты завтракал? Положил в карман кусок хлеба с сыром, словно бродяга, да ушел. Даже к обеду не появился. Приехали вы, а со мной никто из вас и не знается: один возится целый день с глиной, а те двое с больными, А я-то старалась: испекла твой любимый пирог с грибами.

— Не беда, мы его и холодный съедим. А что у вас с чалой кобылой? Приходил сегодня тот цыган?

— Приходил. Говорит, нога у лошади никогда не срастается правильно. Но Петя думает, он нарочно так говорит, чтобы купить ее задешево.

— Верно. А сам перепродает на ярмарке в Смоленске.

— Для того он и скупает скот в селе. Кстати, он был в Гвоздевке и рассказывает, что тамошний старый нищий умер от крысиного яда.

— Карол сразу так и решил. Как только ему описали симптомы, он сразу сказал, что это стрихнин. Но что заставило Акулину дать ему стрихнин? Зуб у ней, что ли, был против старика? Не собиралась же она грабить нищего.

— Что ты, она его до этого и в глаза-то не видела. Акулина во всем призналась. Это Митя дал ей яду, чтобы она отравила его жену, а яд Митя купил у здешнего торговца, татарина Ахметки.

— Какой такой Митя?

— Да рыжий Митя, из нашей деревни. Он хотел избавиться от жены, говорит — надоела ему: как родит, так все болеет да болеет, коров даже подоить некому. Да он побоялся сделать это сам, вот и упросил Акулину. Обещал даже жениться на ней, если она все выполнит как следует.

— А какое отношение имеет нищий к Митиным семейным делам?

— Никакого. Он просто проходил мимо и попросил напиток. Вот Акулина и дала ему яду, чтобы проверить, настоящий ли это яд. Говорит, что все татары обманщики, а как же бедной женщине проверить,

настоящий ли у нее яд? Вот она и решила испытать его на нищем.

— Звучит как нельзя более убедительно, — сказал Карол, входя вместе с Оливией в павильон и неторопливо усаживаясь на край стола.

— Тетушка, я велел вашей косоглазой служанке, — как ее звать-то — Феофилакты? — принести сюда чаю. Мисс Лэтам устала, да и Володе пора кончать работу.

Оливия села на деревянную скамью у двери и подперла рукой подбородок. Она и впрямь выглядела очень утомленной. За последние недели лицо ее заострилось и постарело. Тетя Соня со свойственным ей суетливым радушием сейчас же вскочила.

— Голубушка моя, как вы бледны! Весь день у вас ведь и маковой росинки во рту не было! Должно быть, умираете с голоду. Когда вы вернулись?

— Только сейчас. Зашли домой переодеться и сразу сюда. Не беспокойтесь, тетя Соня. Я немного устала, только и всего.

Старушка ласково погладила бледную щеку девушки и ушла отдавать распоряжения Феофилакты. Покладистая тетя Соня успела уже привязаться к Оливии. Все англичане оставались, конечно, нечестивыми иноверцами, но Оливия являла собой счастливое исключение, и тетюшка благоволила теперь к ней не меньше, чем к Каролу, несмотря на нехристианское исповедание обоих.

Карол вынул из кармана книгу и начал читать. Владимир наклонился к Оливии и откинул волосы с ее лба. В прикосновении его нервных пальцев было что-то успокоительное, и складка у нее между бровями разгладилась. Несмотря на уравновешенный характер, Оливия не выносила бесцеремонных прикосновений, и когда до нее дотронулась пухлая рука тети Сони, она с величайшим трудом сохранила самообладание.

— Не мучай себя так, голубка, — с нежностью сказал Владимир на ломаном английском языке. — Чем ты была занята весь день?

Лицо Оливии снова помрачнело.

— Помогала доктору Славинскому совершать преступления.

— Совершенно верно, если вдуматься как следует, — вставил Карол, не поднимая глаз от книги. — И все-таки вы и теперь поступили бы так же.

— Тем хуже, — угрюмо отозвалась Оливия. Владимир переводил взгляд с одного на другую:

Спасали ненужную жизнь?

— Две жизни, — так же сурово произнесла Оливия, отводя неподвижного взора от озера. — Спасли мать, которой лучше бы умереть, и ребенка, которому лучше бы не родиться. Разумеется, я и сейчас сделала

бы то же самое, доктор Славинский, так же как и вы, но все равно грешно и преступно сохранять жизнь таким людям. Да вы и сами это знаете не хуже меня.

Карол положил книгу. Он стал очень серьезен и еще более непроницаем, чем обычно.

— Нет. Я думал, что знаю, когда был в вашем возрасте. А теперь я знаю, что ничего не знаю, и работаю, делая все, что в моих силах, вслепую. Вы, как и другие, тоже начинаете с высоких идей, но придете к тому же.

Оливия сделала протестующий жест. Но Карол снова углубился в чтение и никого не замечал.

— Послушай, Оливия, — сказал, помолчав, Владимир, — но ведь и в лондонских трущобах тебе приходилось сталкиваться с отвратительными явлениями. Почему же здесь ты так?..

— Отвратительные явления! — с горячностью вскричала Оливия. — Да где же их нет? Но ведь здесь только это и видишь, ничего другого! Володя, во всей этой деревне нет ни одной здоровой женщины, ни одного здорового мужчины или ребенка! Люди разлагаются заживо — душой и телом. В избе, где мы сегодня были, ютятся десять человек — четыре поколения, и всех их, начиная с прадеда и кончая новорожденным, следовало бы навеки усыпить. Все они прогнили насквозь: отец — пьяница, тетка — сумасшедшая, бабушка... О, я не могу об этом рассказывать! А о чем они говорят — страшно слушать!

Она замолчала, вздрогнув от отвращения.

— Я стояла на улице, ожидая, когда доктор Славинский позовет меня. Бабка и ее соседка сидели на крыльце и судачили об отравлении в соседнем селе. Во всей этой истории их возмущало только одно: как это мужики на сходке оказались такими дураками, что не согласились, когда урядник предложил замять все дело за взятку — по двенадцати копеек с человека. Старухи вспоминали, что в прошлом году весной около Бородаевки нашли чей-то труп, и все дело удалось уладить, собрав по семь копеек с души. Но летом, говорили они, приходится, конечно, платить дороже. Все это просто кошмар.

— Откупаться за убийство летом, во время жатвы, всегда дороже, — невозмутимо вставил Карол, не отрываясь от книги. — Гвоздевские мужики отказались платить, потому что урядник запросил слишком много. Они заявили, что больше чем по десяти копеек не дадут, а то им будет нечем платить подати. Но вот и чай. Как бы не надорвалась эта девушка, поднос слишком тяжелый.

С неожиданным для такого медлительного человека проворством

Карол вскочил с места и побежал вниз, навстречу служанке, чтобы взять у нее поднос. Владимир стоял рядом с Оливией, положив руку ей на плечо.

— Дорогая, я ведь предупреждал тебя еще в самом начале, помнишь? Нелегко любить человека, который живет в аду. А ведь ты видела еще далеко не все.

Она быстро повернулась и прижалась щекой к его руке. Сдержанная и застенчивая Оливия была так скупа на ласки, что от неожиданности Владимир вздрогнул и изменился в лице. Но она тут же снова выпрямилась.

— Как твои успехи? Можно мне посмотреть?

Он снял тряпку. Когда Карол вошел с чайным подносом в павильон, она молча стояла перед неоконченной скульптурой.

— Я не знала, что ты умеешь изображать такие жестокие вещи, — сказала Оливия, глядя с беспокойством на своего возлюбленного.

— А я знал, — вмешался Карол. — Немножко грубовато, Володя, но потрясающе сильно.

— Это жестоко, — настаивала Оливия. — Он показал борьбу, убийство, внезапную смерть. Эта птица хотела жить, хотела бороться за свою жизнь, но ее с бессмысленной жестокостью лишили всего.

— Как и многих других.

Владимир засмеялся. Хорошо, что он редко смеялся — это был неприятный, резкий смех.

— Садитесь, тетушка, поближе. Сейчас я уберу со стола весь этот мусор, и будемте пить чай.

В этот лунный вечер они долго сидели на балконе. Дни стояли удивительно ясные и теплые, и хотя лето было на исходе и соловьи уже не пели, из уснувшего леса доносилось нежное воркованье птиц. Карол проводил с друзьями последний вечер — наутро он уезжал в Варшаву. Оливия, все еще казавшаяся усталой после целого дня работы, заверила всех, что чувствует себя гораздо лучше: пока Владимир и Карол играли с детьми, она успела прилечь ненадолго в своей комнате. Если бы не боязнь показаться заносчивой, она с удовольствием проводила бы все вечера в своей комнате. Вечера в гостиной Лесного бесконечно утомляли ее. Бестактная заботливость тети Сони могла вывести из себя любого человека, уставшего за день, но особенно страдал от этого Владимир. Оливия стискивала зубы, глядя, как самый дорогой для нее на свете человек с трудом выносит нескончаемые глупые вопросы и непрошеную материнскую заботу. Но хуже всего оказались братья. Младший из них, Ваня, был если не идиотом, то во всяком случае человеком умственно

недоразвитым. Из-за слабоумия он годился только для физической работы в усадьбе и, надо сказать, выполнял ее охотно и на совесть. Но время от времени он поддавался искушению выпить лишнего, и тогда в нем оживали наследственные черты его предков — крепостников и самодуров. Ему начинало мерещиться, что физический труд, от которого грубеют руки, унизителен для его дворянского звания: дворянин должен служить богу, царю и отечеству, а также «улучшать породу», — другими словами, не давать проходу крестьянским девушкам. Дома он не решался распространяться на эту тему, ибо познал на горьком опыте, к чему это приводит. Однажды старший брат Петр поймал его как раз в тот миг, когда он внушал молоденькой горничной, что покорность воле господ — долг каждой крестьянской девушки. Схватив брата за шиворот, Петр отхлестал его кнутом, и с тех пор тот стал осторожней. Но иногда он пытался облагодетельствовать своей мудростью тетю Соню. Бедная старушка, помнившая безобразные проделки своего пьяницы отца, только вздыхала и крестилась, как делала это пятьдесят лет назад ее мать.

— Ваня! Ну как тебе не стыдно? Христос с тобой, Ваня... Иди-ка спать, голубчик: бог даст, проспиться, и завтра все пройдет, — слезливым голосом, как в свое время мать, причитала она.

Не всегда было легко уложить Ваню в постель, но если это удавалось, он спал до тех пор, пока не проходило действие винных паров. На следующий день он работал, как обычно, но бывал зол и раздражителен. И только через два дня к нему возвращалось привычное тупое добродушие. Но в это лето Ваня вел себя как нельзя лучше. Его привязанность к Владимиру — привязанность дворового пса к доброму хозяину — оказывала удивительно благотворное влияние на это неполноценное существо. Для скудоумного Вани Владимир был олицетворением самой совести, и, когда никакие меры воздействия не могли удержать его от пьянства и разгула, стоило лишь упомянуть имя Владимира — и он сразу унимался. Самое большое горе в своей жизни он испытал в тот день, когда Володя рассердился на него. Это ужасное для Вани событие было вызвано его жестоким обращением с лошастью. С тех пор он никогда не мучил животных, даже когда был пьян. К Оливии он относился с робким уважением, восхищаясь на почтительном расстоянии женщиной, сумевшей завоевать любовью его кумира, но в глубине души жестоко ревновал Владимира к ней и Каролу. Вдовый Петр был совсем другим человеком. В юности он учился на естественном факультете Московского университета и подавал большие надежды. Нужда и ранняя женитьба вынудили его расстаться с мечтами о научном поприще и вернуться в разоренное,

заброшенное имение. Он полагал, что на доход с этого имения сможет прокормить свое растущее семейство. Смерть горячо любимой жены и трагическая судьба юного Владимира сломили его волю к жизни, а привычка к барству — роковое наследие крепостного уклада — довершила остальное. Если бы Петр сумел вырваться в вольный мир и попасть под чье-либо благотворное влияние, он, возможно, излечился бы от пагубной бесхарактерности. Но в Лесном, где ему приходилось трудиться с утра до вечера и все-таки отказывать себе в самом необходимом, он оставался «барином» и, как говорится, гнил на корню. К тридцати пяти годам он совсем опустился и стал заядлым, отчаянным картежником

Когда после нескольких тяжелых месяцев трудов и лишения ему удавалось наскрести немного денег, он брал у владельца соседней корчмы замороженную верховую лошадь и отправлялся в ближайший городишко. В оправдание он придумывал что угодно — говорил, будто едет продать скот или выбрать семена для посева, — но никого этим не обманывал. Чужая лошадь сразу изобличала его: и они все остальные знали, что если он возьмет собственную лошадь, то проиграет и ее, а сам вернется домой пешком. Сидя в грязном трактире, кишасщем клопами и тараканами, насквозь провонявшем винным перегаром и копотью керосиновых ламп, он, обычно такой чистоплотный и брезгливый, ночи напролет играл с урядником и пьяным податным чиновником. По натуре своей Петр был человек глубоко целомудренный и гордый и никогда не принимал участия в непристойных забавах урядника и чиновника. Он скорее умер бы с голоду, чем сел за один стол с урядником. Но когда на него находил картежный азарт, он бражничал с ними как равный и с угодливым смехом выслушивал их похабные анекдоты, лишь бы они не разобиделись и не бросили игру. Проиграв все до последнего гроша, он молча садился на тощую лошадедку и тащился домой через темный, мрачный лес. Свесив голову на грудь и слушая шум сосен, снедаемый стыдом и раскаяньем, он предавался мыслям о самоубийстве.

Оливия не видела его в таком состоянии. Присутствие в имении Владимира — единственного в мире человека, которого Петр еще любил и уважал, удерживало его от карт. Но желание играть все усиливалось, и с каждым днем он становился беспокойней и сумрачней.

Его внешнее сходство с Владимиром пугало Оливию. Оно было особенно заметно в профиль, и, когда Петр сидел возле Оливии, как сейчас на балконе, и она видела этот жалкий, преждевременно одряхлевший двойник своего возлюбленного, сердце ее болезненно сжималось. Те же черты, но со следами вырождения — вялые, поникшие, безучастные. Ни

намека на вдохновение, силу воли, героическую самоотверженность. Даже широкое самодовольное лицо слабоумного Вани казалось Оливии не столь отталкивающим.

— Мисс Лэтам, — сказал, вставая, Кэрол, когда часы пробили одиннадцать. — Я хочу покататься немного на лодке. Не составите ли вы мне компанию? Вы, кажется, выражали желание увидеть озеро при лунном свете. Нет, нет, Володя, тебе сегодня нельзя. Я потом зайду к тебе поговорить. А на озеро тебе сегодня нельзя — поднялся туман.

— Но дорогой мой! — вскричала тетя Соня — Неужели вы пойдете в такую поздноту на озеро? И Оливия тоже? Вы оба там насмерть простудитесь да, неровен час, еще, чего доброго, утопнете.

В душе своей она полагала, что молодой девушке неприлично кататься с неженатым мужчиной ночью на лодке. Но за время пребывания гостей в усадьбе она научилась не высказывать вслух подобных мыслей, хотя, конечно, они у нее возникали. Кодекс девичьей чести, полагала тетя Соня, должен состоять в умении завлекать мужчину, но в то же время знать, как сдерживать его порывы. С робким удивлением взирала она на прямолинейность и независимость Оливии, никогда не прибегавшей к жеманству и уловкам так называемого «приличного поведения».

— Я никогда не простуживаюсь, — сказала Оливия, складывая свое вышиванье.

— А Карол никогда не утонет, — добавил Петр. — Ему на роду совсем другая смерть написана, так что не тревожьтесь, тетушка.

Все, кроме Оливии, засмеялись, словно это была удачная шутка. Только Оливия поморщилась: чувство юмора было у нее слабо развито, и слова Петра ее ничуть не рассмешили.

Она шла с Каролом по аллее меж лип. Луна ярко светила с чистого неба, но под сенью деревьев было сумрачно. Высокая фигура ее спутника терялась в тени.

— Боюсь, вам здесь нелегко придется, — заметил Карол, немного помолчав. — Вы относитесь ко всему серьезно, но здесь это излишне, если только вы не собираетесь относиться к этому поистине совершенно серьезно.

— А вы как ко всему относитесь? Ну, хотя бы к тому — суждено ли вам утонуть или умереть другой смертью?

— Я перестал ломать над этим голову уже много лет назад. Меня интересует не то, как я умру, а что я успею сделать, пока жив. Осторожно, здесь яма, не оступитесь. Возьмите меня лучше под руку.

Она повиновалась, и они молча дошли до конца аллеи.

— А Володя? — спросила Оливия. — Ломаете ли вы себе голову над тем, что успеет сделать он, пока жив?

Рука, на которую она опиралась, как будто дрогнула.

Но, может быть, ей показалось? Уж очень мимолетным было это движение. Они вышли на освещенное луной место, и Оливия взглянула на Карола. К великой ее досаде, выражение его лица не изменилось.

— Вы не ответили на мой вопрос, — сказала она, опуская руку.

Карол подошел к воде и отвязал лодку.

— Прошу вас.

Намеренно не замечая протянутой им руки, она вошла в лодку и, не глядя на него, опустилась на скамью. Карол взялся за весла, и лодка отчалила от берега.

— Зачем об этом спрашивать? — проговорил наконец он, перестав грести. — Все мы делаем, что можем, и умираем, когда должны умереть.

Голос Оливии задрожал от гнева:

— Я спрашиваю вас об этом потому, что все время думаю: отдавали ли вы себе отчет в том, что делаете, когда вовлекали его, почти мальчика, в эту вашу политику?

Карол серьезно ответил:

— Было время, когда и меня долго мучил этот вопрос. Но, повзрослев, я перестал об этом думать. С годами появились другие заботы.

— Более важные, чем судьба человека, которого вы, может быть, погубили?

— Более важные, чем чья бы то ни было судьба. Она бросила на него негодующий взгляд.

— Позвольте узнать, где вы обрели это олимпийское спокойствие, с которым решаете, что более и что менее важно?

— В Акатуе.

Оливии вдруг показалось, что она проявила чудовищную, непростительную жестокость. Она замолчала, подавленная тем загадочным, что наполняло жизнь этих людей, и своим неведением, из-за которого она то и дело попадала впросак и причиняла им боль. Карол снова налег на весла, и лодка медленно поплыла дальше. Некоторое время тишину нарушал лишь шорох кувшинок, задетых лодкой, да сонное клохтанье диких уток. Над сверкающей гладью озера им навстречу плыли клубы тумана, посеребренные лунным светом. Раскинув широкие крылья, пронеслась, преследуя добычу, сова и исчезла в темных недвижных соснах.

— Бесполезно ворошить то, что прошло и с чем покончено, — сказал Карол. Пронзительный крик совы всколыхнул тишину. — Володина судьба

уже давно решена и вам, если вы не хотите трепать нервы себе и ему, следует считать это свершившимся фактом и примириться раз и навсегда. Ему уже за тридцать, и жизненный путь его определен.

— Кем? Вами или им? — вызывающе спросила Оливия. Она была страшно раздосадована тем, что одно слово «Акатуй» могло отвлечь ее от спора. Но спокойный, испытующий взгляд Карола заставил ее опустить глаза.

— А вы спрашивали об этом его самого?

Опять он сбил ее с толку.

— Я спросила его однажды, что же заставило его... совершить первый шаг. Я, конечно, понимаю, что если человек решил посвятить себя чему-то и кое-что уже сделал, он не может все вдруг бросить... Это понятно. Но принять участие в этом деле, когда оно так чуждо его натуре... и отказаться ради него от любимого искусства... этого я просто не понимаю.

— А он объяснил вам?

— Он сказал, что и этим и вообще всем хорошим, что было в его жизни, он обязан вам больше, чем кому бы то ни было. Сказал, что блуждал в потемках, а вы вывели его к свету. О, не беспокойтесь, он всей душой предан вам и вашему делу. Но я, с тех пор как приехала, все время спрашиваю себя: стоит ли этот свет той цены, которую он за него заплатил?

— Свет превыше всякой цены.

— Даже если он погас?

Тишину пререзал протяжный, душераздирающий волчий вой, и тут же раздался жалобный писк какого-то мелкого зверька.

— Вы, словно ребенок, пугаете сами себя всякими выдумками, — с суровым состраданием проговорил Карол. — Наш свет не гаснет.

Оливия наклонилась и опустила руку в воду. Лодка медленно скользила по озеру, и прохладные бархатистые листья кувшинок скользили меж пальцами Оливии, не отводя глаз от сверкающих струй, она заговорила снова:

— Как вы думаете, кем бы он стал, если бы вы не вовлекли его в ваше дело?

— Скульптором.

— Да. Скульптором. И, наверно, хорошим скульптором.

— Может быть. Он, несомненно, человек одаренный.

Пожалуй, даже талантливый.

— А что сделали из него вы?

— Ничего. Я помог ему прозреть, остальное довершила его собственная натура. И вот вам результат: он огонек, светящийся в кромешной

тьме.

— Все это не то! — воскликнула в отчаянии Оливия. — Одни красивые фразы — и только! А я хочу добраться до истины. Володя уверяет, будто у него нет способностей к лепке, а вы говорите, что он талантлив. Если это так, то вы убили его талант вашей политикой. Вы думаете, я не вижу, что он потерял веру в ваше дело, что он привержен этому делу только из чувства товарищества, из бессмысленной преданности тому, что заведомо обречено на провал? Жизнь его загублена без всякой пользы, и ни у вас, ни у него нет мужества признать это.

— Разве можно считать его жизнь совсем бесполезной, если она благотворно влияет на обстановку, подобную здешней? Вспомните этих несчастных сельских ребятишек! Он делает им больше добра, чем их собственные отцы. Вы можете не видеть пользы от его участия в политических делах, но, поверьте, в основе этого участия лежит то же чувство, которое побуждает его быть ангелом-хранителем этих жалких людей.

— Думаю, что всю свою жизнь он только и был ангелом-хранителем жалких людей. Должно быть, это у него в крови, — сказала Оливия, глядя в воду.

— Ошибаетесь. Раньше он был изрядным эгоистом. Когда я встретился с ним впервые, жалкие люди интересовали его только как модели для скульптур.

— Когда вы впервые встретились, он был совсем мальчишкой. В ту пору Владимир еще не начал жить и характер его еще не сложился.

— Ему шел тогда двадцать второй год.

— Ну и что же? Он ничего еще в жизни не видел и жил как в пустыне. В двадцать один год он впервые приехал в город учиться лепке, не так ли? Совсем как Дик Уиттингтон<sup>[9]</sup>, без денег и без рекомендаций.

— Да. И с папкой, набитой рисунками. Он собирался поступить в Академию художеств, поехать в Париж и бог знает что еще. Вы видели его рисунки?

— Я ничего не видела из его работ, кроме этого сокола.

— Возможно, Владимир сжег рисунки. Позднее он отказался от всех этих планов. Написал мне в Акатуй, что навсегда покончил с пустыми мечтами. Только после встречи с вами он начал опять понемногу лепить.

— Слишком поздно, — сказала Оливия дрожащим голосом. — Он уже никогда не будет прежним.

— Те, у кого есть душа, не могут оставаться неизменными.

Внезапно Оливию охватил гнев:

— Вот оно! Узнаю отвратительную заносчивость людей, одержимых идеями. По-вашему, душа есть только у тех, кто занимается вашей политикой, не так ли? Вы похожи на миссионеров, проповедующих христианство: навязываете свой свет людям, которым он совсем не нужен, — и они гибнут!

— Вы отчасти правы, — спокойно согласился Карол. — Это, как говорится, палка о двух концах. Русским, у которых пробудилась совесть, приходится очень нелегко. В России это сопряжено с большими трудностями, чем в других странах. Думаю, что если бы даже Володя и мог, он не захотел бы вернуться к своему прошлому. Во всяком случае, спорить на эту тему бесполезно. У меня к вам другой, чисто практический вопрос: когда вы собираетесь в Англию?

— Я думала выехать в конце месяца, после переезда в город. Родные ждут не дождутся моего возвращения.

— Прошу вас отложить отъезд. Лучше, если вы проведете эту осень с Володей.

Лицо Оливии побледнело.

— Вы считаете, что есть опасность?..

— Нет, не считаю, но все-таки лучше, если вы останетесь.

— Почему?

Карол молчал.

— Я не ребенок, — продолжала Оливия, — и, как я уже говорила, не склонна к слезам. Вы должны сказать мне напрямик. К чему я должна быть готова?

— Не хочу пугать вас, но я не совсем доволен его состоянием.

— Но, выслушав его в последний раз, вы сказали мне, что есть некоторое улучшение.

— Пока что незначительное. Ну как, можете вы остаться?

— Разумеется, могу. Но если что-нибудь случится... я хочу сказать, если ему станет хуже... могу я вызвать вас?

— Я очень занят, как вы знаете, и мне трудно получать разрешение на въезд. Но я постараюсь приехать к Рождеству. Никому не рассказывайте о нашем разговоре. А теперь пора домой.

Когда они возвратились, все уже спали. Карол зажег две свечи и протянул одну Оливии.

— Я увижусь с вами до отъезда?

— Конечно. Я рано встаю.

— Хорошо. Спокойной ночи.

Поставив подсвечник на стол, Оливия нерешительно вымолвила:

— Доктор Славинский...

Карол повернулся к ней с улыбкой.

— Да?

— Я... я была груба с вами. Но понимаете, для меня здесь все так ново... Эта жестокость, обнищание... Я и сама становлюсь жестокой... говорю такие вещи, что потом стыдно вспомнить. Вот и сейчас, в лодке, я сказала вам такую гадость...

Рука Карола, лежавшая на столе, медленно сжалась в кулак, но и только.

— Простите меня, — проговорила Оливия, дотронувшись до его пальцев.

Пот выступил на лбу Карола. Он отдернул руку, и она услышала его прерывистое, тяжелое дыхание. Широко раскрыв глаза, Оливия отступила назад.

— Я оскорбила вас? Вы единственный человек, на которого я могу здесь положиться. Умоляю...

— Дорогая мисс Лэтам, ну за что мне на вас обижаться? Разумеется, вы всегда можете на меня рассчитывать. И не волнуйтесь за Володю. Думаю, он поправится. Спокойной ночи.

Когда Карол вошел в комнату, Владимир читал. Он поднял голову и улыбнулся.

— Привет, старина! Хорошо покатались?

— Великолепно, — сказал Карол, опускаясь на стул и скручивая папиросу. — Лунный свет, уханье сов и все такое прочее. Но как здесь ни хорошо, а надо возвращаться на работу. Нельзя же отдыхать бесконечно. А невеста у тебя, Володя, славная. Симпатичная, право, девушка.

## ГЛАВА V

Рано утром Карол уехал из Лесного. Вся семья, за исключением Пети, вышла на крыльцо провожать гостя. Пока коляска ахала по аллее, Карол с улыбкой оглядывался на обитателей усадьбы, махавших ему вслед платками. Но как только ветви лип скрыли из виду дом, улыбка сбежала с его лица, и оно сразу постарело и осунулось.

Он в жизни не жаловался на свою судьбу, даже когда она была к нему так жестока, как сейчас. В конце концов ведь и у него были свои радости. Как ни горек его удел, Карол, по крайней мере, научился владеть собой, и сейчас это пришлось как нельзя более кстати. Человек, безнадежно

влюбленный в женщину, составляющую единственную отраду друга, жизнь которого он погубил, должен почитать себя счастливым, если сумел не выдать обуревавших его чувств. Во всяком случае, ему, Каролу, удалось с честью выйти из трудного положения. И это самое главное. Правда, в тот миг, когда пальцы Оливии так неожиданно коснулись его руки, он чуть не потерял голову и ему едва не изменил голос, но все же он совладал с собой. Ни Оливия, ни Владимир так и не догадались о его печальной тайне. Но теперь, когда отпала необходимость притворяться, он почувствовал бесконечную усталость. Как хорошо, что до Рождества ему не придется видеться с Оливией; ничто другое его сейчас не интересовало. Откинувшись назад, Карол невидящими глазами смотрел на стлавшийся по земле туман.

Она была права, черт бы ее побрал, права, хоть и изрядно ему нагрубил. И подумать только — несмотря на ее поразительную неосведомленность в ряде вопросов, она обладает дьявольской способностью попадать в самую точку. Она права: огонь, которым он разгонял мрак, спалил прекрасного человека, в недобрый час повстречавшегося ему на пути. Он был слишком милосерден, чтобы сказать ей прямо, что она права, и слишком искушен во лжи, чтобы позволить ей догадаться об этом. Но так или иначе — она права. Ему теперь тридцать четыре года, и если оглянуться назад, на все взлеты и падения его юности, то, пожалуй, ни одна из побед той поры не имела такого трагического конца, как привлечение на свою сторону Владимира. А тогда (как давно это было!) это казалось ему блестящим успехом. Всею виной — чрезмерное юношеское увлечение гуманизмом. Вера во всеобщее братство и всепрощение так же присуща юноше в эту пору жизни, как нелепые проказы — щенку. К счастью, убеждения человека, как и характер щенка, с возрастом меняются, но Карол относился ко всему слишком серьезно, и ему пришлось нелегко. Он вырос в исконно польской семье, где ему с детства внушали ненависть и отвращение ко всему русскому. В двадцать один год он понял, что всякая национальная вражда раздувается искусственно и что все люди братья. Проповедуя эти новые идеи и ратуя за равенство и независимость всех национальностей, он добился большого успеха среди своих соотечественников в космополитических кругах петербургского общества. Постепенно он порвал с узконациональными традициями своей семьи и объявил устаревшими предрассудками те выводы, к которым пришли его сородичи на основании долгого опыта. Своему деду, усыновившему его, когда он остался сиротой после очередного восстания, Карол сказал, что приветствует всякое проявление

человеческой личности и судит о человеке не по его национальности — поляк он или русский, — а по его душевным качествам. Сколько молодого задора и пылкости было в его словах! Он помнит, словно это было вчера, как старик, поглощенный чтением Библии, поднял на него глаза и со снисходительной важностью ответил:

— Да, да, сейчас много развелось всяких тонких теорий, и в юные годы естественно увлекаться ими. Но в конце концов ты вернешься к своему народу — так поступают все благоразумные люди.

— Вы внушали мне, что у русских есть только зубы да желудок, — вспомнил Карол свои негодующие слова, — это неверно. У них есть души, так же как у нас.

— Конечно, есть, мой мальчик, конечно, есть, — ответил дед, крестясь изувеченной сабельным ударом рукой. — Но пусть господь и пресвятая мать божия заботятся об их душах, а твое дело увертываться от их зубов.

Но не в натуре Карола было увертываться от чего бы то ни было. Неопытный, едва оперившийся юнец с презрением отворачивался от трезвой оценки действительности. Он очень рано усвоил незыблемую истину, что большая идея, как и все истинно великое, требует жертв. И ради своего призвания он был готов на любые страдания, любые потери. Тогда ему еще не приходило в голову, что расплачиваться придется не ему одному. И подобно Диогену, вооружившемуся фонарем<sup>[10]</sup>, он посвятил себя поискам — искал русских, наделенных душой.

Целых два года посвятил юноша великолепной, но несбыточной мечте: силами самих русских отомстить за поругание своей родины, найти поборников ее прав среди потомков ее врагов. А потом он встретил Владимира.

Умудренный жизненным опытом, теперешний Карол, которого Акатуй излечил от бесплодных мечтаний юности, оставил бы эту цельную, нетронутую натуру в покое — пусть пребывает в блаженном неведении и наслаждается примитивными радостями жизни. Но двадцатитрехлетний миссионер Карол почел священнейшим долгом обратить и завоевать этого великолепного дикаря. Молодой Карол не интересовался ваянием и плохо разбирался в людях. Он решил, что совершит великий подвиг, если сможет вырвать столь незапятнанное создание из вскормившей его грязной среды и принести на алтарь божества, которому поклонялся.

Неизбежным результатом было слишком сильное воздействие западного образа мыслей на восточный склад ума. Как только во Владимире пробудилось чувство нравственного долга, беззаботная жизнь художника, которую он вел и для которой был создан, стала для него

невозможной. Но это не сблизило его с друзьями Карола — польскими повстанцами. Для них он оставался отщепенцем, человеком, чуждым по духу и крови, который, будучи русским, не мог разделять их мысли и чаяния. Выйдя из тюрьмы, Владимир порвал с этим кругом, и лишь несколько поляков остались его близкими друзьями. Он присоединился теперь к тем русским, в ком были живы идеалы гражданского долга. Их преждевременная попытка пробудить самосознание народа, пребывавшего еще во власти азиатских обычаев, окончилась неудачей. К несчастью, Владимир не погиб вместе с большинством своих товарищей. Ему суждено было увидеть, как священное для него дело было потоплено в крови и насилии, загублено преследованиями, интригами и предательством. В стране, где восторжествовали продажность и наглое, бесстыдное интриганство, уцелели еще несколько таких же одиноких мучеников, как он, оставшихся верными своему делу, но уже неспособных к действию. Они не могли стать европейцами: Россия была для них всем на свете, но в России им нечем было дышать и нечего делать.

Хорошо хоть, что появилась Оливия. Владимир изведает по крайней мере немного личного счастья. Для Карола же это не столь важно: поляк, возглавляющий революционное движение рабочих в промышленном городе, может обойтись и без личных радостей. Жизнь его и так заполнена. А к Рождеству он привыкнет к своему положению, и при встрече с ней ему будет не так трудно держать себя в руках. Если бы только не этот ее взгляд — такой серьезный, сочувствующий, сводящий с ума...

Во всяком случае, впереди четыре месяца передышки и уйма работы. Союз домбровских шахтеров прислал ему отчет. Нужно найти человека, который помог бы им. И потом эта ежемесячная газета, которую он затеял выпускать, нуждается в средствах — придется подыскать энергичного помощника. А что касается его личного невезенья... обидно, конечно. К тому же какая нелепая жестокость: он, многие годы избегавший романтических приключений, не мог устоять перед этой женщиной. И почему именно перед ней? Чего ради он столько вынес в Акатуе, если не может выдержать испытания, ниспосланного ему богом или людьми? Этот Акатуй имеет странную особенность: вспоминаешь о нем без всякого определенного повода, и тогда все, о чем в эту минуту думаешь и беспокоишься, отступает куда-то далеко-далеко и кажется таким ничтожным... А ведь вспоминаешь из той поры одни только мелочи; давно забытые пустячные происшествия сразу оживают и приобретают яркие, отчетливые очертания. Важные события вспоминаются редко. Они похоронены где-то в глубине сознания и дожидаются своего часа.

На этот раз ему живо вспомнилась не сама каторга, а незначительный случай на этапе восемь лет тому назад. Это было под Красноярском. Он и еще несколько человек подхватили в пути сыпной тиф. Их оставили в лазарете, а конвой с партией ссыльных отправился дальше. В лазарете Карол узнал о самоубийстве своей сестры. Когда больные поправились и под надзором другого конвоя двинулись дальше, наступила уже зима, и обледенелая дорога звенела под копытами лошадей, с трудом тащивших повозки с вещами. В партии ссыльных были больные, среди них две женщины, поэтому свободных мест в повозках не оказалось. Что касается Карола, то он считался вполне выздоровевшим и мог идти сам. Но в тот день переход был особенно утомительным — около-двадцати четырех верст. Пронизывающий восточный ветер и колючий снег, резавший лицо, затрудняли ходьбу. Поэтому, когда солнце село, до бараков, где они должны были ночевать, оставался еще час пути. Каролу в тот день не повезло: он плохо замотал на правой ноге портянку, кандалы во время ходьбы сползли вниз и сильно растерли лодыжку. С удивительной ясностью вспомнил он жгучую боль, когда при каждом шаге железное кольцо терлось о кровоточащую рану. Непонятно, почему ему так живо припомнилось именно это. Он вспомнил в мельчайших подробностях весь тот день: уходящую вдаль бесконечную дорогу, серую в ранних сумерках, заснеженные ветви елей, колымаемые ветром; непрерывные стоны больной женщины, лежавшей без сознания в повозке; чувство одиночества, бесконечности, неотвратимого приближения к неизбежному аду. Потом наступил какой-то провал, а когда он очнулся, то увидел, что лежит на снегу, едва не задохнувшись от вонючего самогона. Над ним склонилось багровое лицо старшего офицера, а конвоиры с тупым безучастием взирали на происходящее. Удивительно, как все они походили на облезлых китайских болванчиков. Карол вспомнил, как один из ссыльных, прозванный «Белкой» за непоседливый нрав и пушистые волосы, крикнул ему хриплым, срывающимся голосом: — Да что ж это такое, Кэрол! Уж если ты начинаешь падать в обморок, так что прикажешь делать остальным?

(Бедняга Белка — добрая, отзывчивая душа! У него была чахотка, но он до последней минуты не падал духом.) Карол ни с того ни с сего разобиделся и заспорил. Никогда в жизни не падал он в обморок, он ведь не какой-нибудь там уголовник, который, чуть что не так, сразу распускает нюни. Неужели эти ослы не понимают, что он просто поскользнулся и слегка ушиб голову? Нельзя уж и поскользнуться на этой дьявольской дороге, чтобы сейчас же не начались пересуды! И он проворно вскочил на

ноги, торопясь доказать, что на него возвели напраслину. Очевидно, он тут же опять потерял сознание, потому что очнулся уже в зловонном бараке и с недоумением уставился на грязные балки над головой. Где-то рядом на раскаленной железной печурке кипел чайник. Он лежал на нарах, свернутое пальто заменяло ему подушку. Кто-то, очевидно Белка, осторожно обмывал его лодыжку, но Карол настолько ослабел, что не мог даже повернуть головы. Потом он долго — много часов или только минут? — лежал неподвижно, в полной прострации и считал насекомых, ползавших по стенам. Сначала он считал их по десяткам, потом по дюжинам, потом по сотням; пускался в нелепые вычисления тангенсов углов, под которыми они ползли, и квадратного корня из суммы их ножек. Время от времени он отрывался от этого занятия и начинал вновь и вновь уверять себя, что все обстоит как нельзя лучше, что Ванда умерла и, значит, в безопасности и что ему не надо больше о ней беспокоиться.

Ну ладно, хватит! Теперь ему тридцать четыре года, работы непочатый край, а он тратит попусту время, перебирая в памяти то, что давно умерло, ушло. Во всяком случае, те годы были для него неплохой закалкой, немножко суровой, правда, но зато она выпала на его долю, когда он был еще молод, — тут ему явно повезло, и надо быть дураком, чтобы не оценить этого. Не каждый, приступая к осуществлению своих жизненных задач, имеет возможность предварительно выяснить, чего он стоит и из какого теста сделан. Два-три года такой жизни так вышколят человека, что раз и навсегда избавят его от страха перед чем бы то ни было.

Но, боже мой, как же он тогда настрадался!..

Оливия и Владимир провели утро в павильоне. Он хотел как можно скорее вылепить сокола и попросил Оливию посидеть возле него. За три часа они не обмолвились ни словом. Он был поглощен работой, а она читала полученные из Англии письма и писала ответы. Возница коляски, в которой утром уехал Карол, доставил их целую пачку. Отец, мать и сестра — все написали. В своем последнем письме Оливия сообщила им, что вернется через две недели, и в ответных письмах родные выражали свою радость. Их огорчит, что ее возвращение по непонятной для них причине откладывается по меньшей мере до Рождества. А объяснить им все в письме она просто не может. Оливия не умела излагать свои мысли на бумаге, и письма ее всегда были коротки и сухи. Происходило это не из-за недостатка любви к родным, а по причине какой-то эмоциональной скованности. Даже внезапные вспышки чувств были почти несвойственны Оливии, а изливать свою нежность в письмах и видеть, как она запечатлевается в равнодушных буквах, — нет, это было свыше ее сил. Но

сегодня Оливия заставила себя написать домой обстоятельные письма и, пустившись в подробные описания красот здешнего края, постаралась смягчить этим неприятное сообщение о том, что она задерживается. Здоровье ее друга оказалось хуже, чем она предполагала, писала Оливия, поэтому отъезд откладывается на неопределенное время; по возвращении домой она обо всем расскажет. Потом Оливия написала Дику. Это было значительно легче, так как не надо было ничего объяснять. Он прислал ей дружеское письмо, в котором весело и остроумно писал о последних приходских новостях, о растительности Хатбриджа, о налоге на воду и о последнем романе Джорджа Мередита<sup>[11]</sup>. Оливия не знала почему, но в эти тревожные недели письма Дика действовали на нее удивительно успокаивающе. Тем не менее, ее собственные письма к нему были очень немногословны, а интерес к редкому экземпляру льнянки, который Дик ухитрился отыскать на пустыре за кладбищем, лишь ненадолго вывел ее из угнетенного состояния.

— Оливия, — послышался голос Владимира. Она оглянулась. Он вытирал испачканные глиной руки. — Хочешь взглянуть?

Сокол был закончен. Оливия долго молча смотрела на него. Владимир увидел, как дрогнули уголки ее рта.

— Тебе не нравится? — спросил он.

— Нет, нет, очень нравится. Но какая страшная, неотвратимая смерть.

— Тем лучше для цыплят.

— Что цыплята! Им никогда не иметь таких великолепных крыльев, как у него!

— Дядя Володя! — послышался за дверью чей-то голос.

Владимир открыл дверь. На пороге, дрожа от холода, с растерянным, заплаканным лицом, стоял его старший племянник Борис.

— Дядя Володя! Папа уехал!

— Куда уехал? — начала было Оливия, но внезапно умолкла. По лицу Владимира она поняла, что тот знает, куда поехал брат.

— Какую лошадь он взял?

— Белую кобылу Ицека.

— А когда вы его хватились?

— Только сейчас. Мы думали, он на новой просеке. Но пришел дядя Ваня и сказал, что его там нету, и тогда тетя Соня послала меня к Ицеку. Он, наверно, уехал до того, как мы все встали. Тетя Соня плачет на кухне, говорит — теперь не хватит денег купить нам к зиме валенки.

Мальчик расплакался. Владимир ласково погладил его по голове.

— Не надо плакать, мой хороший. Я догоню папу и привезу его назад.

Ицек сказал тебе, по какой дороге он поехал?

— Через лес, где овраг.

— А там можно сейчас проехать?

— Да, вода уже сошла.

— Значит, он доберется до города прежде, чем я его догоню. Оливия, прошу тебя, присмотри в мое отсутствие за ребятами, и пусть тетя Соня им ничего не рассказывает. В тебе, Боря, я уверен, ты не станешь зря болтать.

— Конечно, не стану.

— Все будет хорошо, — успокаивающе сказала Оливия. — Боря у нас умница и поможет мне присмотреть за малышами. Иди, Боря, сейчас к детям и поиграй с ними на дворе, а я пойду к тете Соне. Пойдем, Володя, со мной, перед тем как отправиться, ты позавтракаешь.

— Я сейчас. Надо оседлать лошадь. Не волнуйся, дорогая, завтра утром я буду дома.

Наклонившись к мальчику, он стал успокаивать его. Борис больше не плакал, ему уже не было страшно. Владимир осторожно прикрыл сокола влажной тряпкой.

— Вот видишь, — сказал он, с улыбкой обернувшись к Оливии, — цыплята все-таки кое-что значут.

Со дня отъезда Владимира прошло два томительно-долгих дня. Воздействуя на тетю Соню то утешениями, то мягкими увещаниями. Оливии удалось успокоить ее. Она даже заставила всех заняться своими повседневными домашними делами. Дети пока что не подозревали о случившемся. Но к концу второго дня тетя Соня опять разволновалась. Оливии все трудней было сдерживать старушку, когда та, невзирая на присутствие детей, начинала сетовать на поведение их отца.

— Уже шесть часов вечера! А Володя должен был вернуться еще утром. Вот увидите, Оливия, там что-нибудь стряслось. Я знала, что добром это не кончится. Володя всегда так строг с ним, и теперь, наверно, бедный Петя что-нибудь над собой сделал, а мы тут сидим сложа руки...

Она громко, по-бабьи, заголосила.

— Дети, — звонким, решительным голосом сказала Оливия, — бегите-ка к трем соснам и посмотрите, не едет ли дядя Володя. А ну живо, кто добежит быстрее! Раз, два, три!

Все, кроме Бориса, выскочили из-за стола, а он устремил на Оливию серьезный, недетский взгляд и продолжал молча есть хлеб с вареньем.

— Дорогая! — От возмущения старушка даже перестала плакать. — Разве можно во время еды посылать их куда-то наперегонки? Это же так вредно!

— Гораздо вредней слушать подобные разговоры, — спокойно проговорила Оливия. — Дайте я налью вам еще чаю, тетя Соня.

Старушка снова заплакала.

— Сразу видно, Оливия, что вы всегда жили без забот и хлопот. Потому у вас нет жалости к другим.

— Боря, — произнесла Оливия, — передай мне, пожалуйста, чашку тети Сони. Вы напрасно так волнуетесь, тетя Соня. Просто Володя задержался немного дольше, чем рассчитывал. Может быть, дорогу снова затопило.

Но старушка лишь тяжело вздохнула и покачала головой.

— И Ваня не пришел к обеду. И куда только он...

Громкий визг, долетевший с улицы, заставил всех вздрогнуть. Борис вскочил и кинулся к двери, но Оливия опередила его. Мягко отстранив мальчика, она вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.

Ваня, в съехавшей набекрень шапке и запачканных глиной сапогах, стоял на крыльце, держа за шиворот босоногого, заплаканного крестьянского мальчишку. Когда Оливия открыла дверь, он как раз опустил свой тяжелый кулак на его грязную, взлохмаченную голову.

— Я тебе покажу, как смеяться над господами! По-твоему, я пьян? А? Пьян?

Огромный кулак поднялся для второго удара. Оливия молча шагнула вперед и крепко схватила Ваню за руку. Тот вывернулся и, яростно ругаясь, обернулся к ней. Лицо его, обычно бессмысленно-добродушное, покраснелось от водки и горело звериной злобой.

— Беги! — приказала Оливия мальчишке, уцепившемуся за ее подол. — Живо!

Тот бросился наутек, всхлипывая и утирая на ходу слезы. Ваня грубо схватил Оливию за плечо.

— А, так это ты, благороднейшая мамзель! Скажите, какие нежности — нельзя и уши надрать оборванцу! Ладно, так и быть, только поцелуй меня за это. — И он приблизил к ней свое красное, разгоряченное лицо. Оливия чуть отвернулась, стараясь не вдыхать водочный перегар, и, не выпуская руки Вани, ловко вывернула ее. Ваня отпустил плечо Оливии, и девушка быстро отскочила.

— Осторожней, — язвительно сказала она, — тут ступенька. Сейчас мы все обсудим. Только войдите сначала в комнату, не могу же я говорить с вами на крыльце. Ключ? Вот он, ваш ключ, дайте я открою дверь. Хотите поцеловать меня? Ну что ж, сейчас.

В один миг она втолкнула его в комнату и повернула в замке ключ. С

трудом переводя дух, Оливия прислонилась к стене. Ваня был здоровяком, и хотя благодаря своей ловкости она одержала верх, победа стоила ей вывихнутого пальца. Теперь он пытался высадить дверь, вопя во все горло, изрыгая проклятия и безобразные ругательства. На шум выбежала тетя Соня и, как всегда, расплакалась.

— Милочка, я думала, он вас убьет!

— Пустое, — отвечала Оливия, выпрямившись. — Думаете, мне впервые воевать с пьяницами? Я немного повредила палец, пойду промою его. А вы, тетя Соня, допивайте чай, хорошо? Не бойся, Боря, ничего ведь не случилось.

Снаружи донеслось цоканье копыт по каменистой дороге, и Боря бросился во двор. Владимир спускал на землю самого младшего из племянников. Остальные сгрудились вокруг него, не обращая внимания на своего отца, который молча слез с понурой наемной лошади и отдал поводья подоспевшему крестьянскому мальчишке.

— Отведи ее Ицeku, — хрипло произнес он и, не сказав больше ни слова, ушел в дом.

Володя вошел в гостиную. Двоих малышей он усадил на плечи, а трое остальных не отставали от него ни на шаг. Он был страшно бледен, под глазами залегли синие тени.

— Голубчик ты мой, родной ты мой! — бросилась к нему тетя Соня, как всегда готовая к чувствительной сцене. — Как тебя долго не было! А мы тут ужасно беспокоились! Привез ты его? Я всю ночь не смыкала глаз. Петя-то как?

— Минуточку, тетя Соня, — прервал ее сдавленным голосом Владимир. Он никак не мог отдышаться и присел к столу. У него начался один из тех ужасных приступов кашля, которые всегда так его изматывали.

Дети притихли, глядя на него широко раскрытыми, испуганными глазами. К счастью, вскоре пришла Оливия. Видя, в каком он состоянии, она, ни слова не говоря, напоила его прежде всего крепким чаем.

— Что у тебя с рукой? — спросил он, ставя чашку на стол.

Рука у Оливии была забинтована.

— Да ничего особенного. Порезала палец.

— А куда пошел Петр?

— Заперся в своей комнате. Посиди, отдохни немного.

Владимир встал и отстранил руку Оливии

— Я уже отдохнул. Выйдем со мной на минутку, я хочу тебе кое-что сказать.

Они вышли в прихожую.

— Петра нельзя оставлять одного. Он сегодня дважды пытался покончить с собой.

— После того как ты увез его из города?

— Первый раз в кабаке, где я его нашел, — там он пытался повеситься. А второй раз по дороге домой, — он обогнал меня и кинулся к озеру. Там, где обрыв, ты знаешь это место. Ночью я побуду с ним, а ты постарайся успокоить тетю.

— Ты, наверно, и прошлую ночь не спал?

— Я искал его до двух ночи. А когда нашел — он не хотел уезжать. Связался с какими-то тремя скотами из местного гарнизона, и те заключили пари со своими дамами, что выиграют у него медальон с миниатюрой его покойной жены.

— И выиграли?

— Да. Этот медальон — единственная вещь, которую он никогда не ставил на кон. Но я получил его обратно.

— Выкупил?

— Одного мерзавца я просто сшиб с ног, а двое других согласились отдать медальон. Потом я, конечно, заплатил им. А теперь, любимая, иди. Мне надо узнать, что он затевает.

Она поцеловала его и ушла Владимир постучался в комнату брата.

— Петр! Петр! Это я, отвори!

— Уходи, — слышался из комнаты невнятный, глухой голос, — уходи, оставь меня в покое.

Соседняя дверь неожиданно затряслась под градом сыпавшихся на нее ударов. Это запертый в своей комнате Ваня, до тех пор молчавший, вновь разбушевался, услышав рядом голоса.

— Она меня заперла! — вопил он, колотя в дверь изо всей мочи кулаками и ногами. — Слышишь? Эта английская ведьма заперла меня... меня... дворянина...

— Петр! — резко и повелительно крикнул Владимир. — Сейчас же выходи!

Дверь отворилась, и на пороге появился злополучный картежник. Он сбросил пальто, но не переоделся и не умылся. Трясущиеся руки его были в грязи, спутанные волосы взмокли от пота, костюм измят и растерзан. Мутные глаза с ужасом уставились на гневное лицо Владимира.

Оливия, услышав шум, поспешно вернулась. Ей тоже стало не по себе, когда она увидела выражение лица Владимира. Он смотрел на ее забинтованную руку.

— А теперь надо расправиться с другой скотиной, — сказал Владимир,

распахивая дверь в комнату Вани. Разъяренный маньяк с диким воплем бросился на Оливию. Она спокойно отстранилась, а Владимир, схватив его за руку, швырнул назад в комнату.

— Ложись спать, — приказал он. — Неужели у тебя не осталось ни капли стыда? — Глаза его сверкали гневом.

С минуту Ваня, раскрыв рот, смотрел на брата, потом повалился на пол и громко зарыдал.

— Ложись спать, — строго повторил Владимир. Сраженный раскаянием, Ваня молча повиновался.

Владимир запер дверь и, держа в руке ключ, подошел к Петру. Тот, опустив глаза, молча стоял рядом.

— Ты видел, что он сделал с ее рукой? Картежник медленно поднял глаза и вновь опустил их. На лице его выступили красные пятна.

— Это натворил Иван, пока я рыскал по всей округе, разыскивая тебя. Ей пришлось защищать от этого мерзавца твоих детей.

Из комнаты, где был заперт пьяница, доносились безудержные стенания:

— Володенька, не сердись! Христа ради, не сердись! Петр поднес к горлу дрожащую руку. Он хотел что-то сказать, но губы его так тряслись, что он не мог вымолвить ни слова.

— Я говорил тебе, — наконец вымолвил он, — надо было оставить меня... это единственное спасение...

Владимир усмехнулся:

— Значит, в довершение всего... еще и следствие?

Оливия, не выдержав, вмешалась. Надо во что бы то ни стало положить конец отвратительной сцене. Для нее в неприкрытом позоре этого павшего человека было что-то абсолютно недопустимое. Он походил на преступника, закованного в колодки и выставленного на всеобщее посмешище. Она шагнула вперед и взяла из рук Владимира ключ.

— Послушайте, — обратилась она к Петру. — Будьте же благоразумны. Володя со вчерашнего дня не спал и не ел, да и вы тоже. Нельзя допустить, чтобы Володя снова заболел. Прошу вас, возьмите ключ и присмотрите за Ваней. Если вам хочется побыть вечером одному, я принесу вам ужин в комнату. Пойдем, Володя.

Рука картежника машинально сжала ключ. Он молчал, и ни один его мускул не дрогнул, пока девушка не скрылась из виду. Ее бесстрастный взгляд, в котором не было и тени упрека или презрения, наполнил его душу жгучим стыдом. Он понял, что для нее ни он, ни хнычущий за дверью пропойца не были людьми. Они — лишь случай в ее медицинской

практике. Даже холодный, беспощадный гнев Владимира было легче вынести, чем это профессиональное всепрощение, равнодушную снисходительность филантропки по специальности, которая изучила все заблуждения и соблазны человечества, но сама не испытала ни одного из них.

## ГЛАВА VI

На следующий день жизнь в доме, казалось, вошла в привычную колею. К тете Соне вернулось всегдашнее благодушие, и она болтала, как сорока. Петр, молчаливый и осунувшийся, работал по-прежнему и даже заставил заняться чем-то Ваню. За обедом Петр не проронил ни слова. Молчал и Ваня. Оливия забавляла детей разными шутками, чтобы отвлечь их внимание от отца, а после обеда предложила им пойти на кухню: она научит их варить тянучки на английский манер. Погода все больше портилась, нечего было и думать выпустить ребят погулять.

— Володя, — сказала Оливия, направляясь к двери в сопровождении весело прыгавших, возбужденных детей, — тебе надо бы прилечь.

Он и впрямь выглядел совсем больным. Усталость и нервное напряжение последних двух дней не прошли даром. Ночью он подолгу кашлял.

— Лучше я буду варить вместе с вами тянучки, — заявил Владимир, усаживая себе на плечо самого младшего из детей. — Можно?

— Тогда подожди, сейчас мы все приготовим. А ну, цыплятки, живо мыть руки, все до одного. Иду, тетя Соня.

Она покрыла голову платком и под проливным дождем побежала на кухню. Сквозь водяную завесу Оливия едва разглядела Петра и Ваню, пробиравшихся к амбару. Сторожевые псы забились в свои будки и жалобно повизгивали. Погода была отвратительная.

Приготовив на кухне все, что нужно, Оливия вернулась в дом за детьми. Они были в гостиной. Окружив сидевшего в кресле Владимира, они слушали сказку, которую он рассказывал. Оливия, стряхивая с платка дождевые капли, вошла в гостиную и, услышав его голос, остановилась у двери.

— Когда Зеленая Гусеница вползла на самый верх тростинки и обвилась вокруг ее крошечной макушки, она оказалась так высоко, что могла видеть все, что происходило вокруг. Перед ней раскинулась такая широкая, огромная страна, какой она никогда до сих пор не видывала. Она

называлась Страной Завтрашнего Дня, потому что все дети в ней стали уже взрослыми, а все гусеницы превратились в бабочек (ведь именно это и происходит с гусеницами, когда они становятся взрослыми, не так ли?). А посередине Страны Завтрашнего Дня стояло огромное дерево — самое огромное дерево в мире. Ствол его подпирал небо, а корни крепко вцепились в землю, чтобы она не провалилась, когда вы начинаете слишком усердно прыгать. В тени густых ветвей этого дерева было так сумрачно и тихо, что утром, когда звездам пора ложиться спать (да, да, если ты — звезда, то должен спать днем), все они слетались в траву, прятались в тени ветвей и крепко спали до вечера, спрятав крошечные головки под крылышки. А вот и Оливия! Теперь пойдете варить тянучки.

— Тянучки подождут, — засмеялась Оливия. — Я хочу послушать про Зеленую Гусеницу.

— Стоит ли, дорогая? Ведь нашим гусеницам все равно не превратиться в бабочек. Сашка, хочешь посажу тебя на спину? Только держись крепче. Будь я большим генеральским конем, ты был бы генералом и ехал на мне с важным и надутым видом. Но я всего-навсего обозная кляча, а ты — мешок с картошкой. Так что берегись: не то начну лягаться и сброшу тебя.

Когда довольные, перепачканные липкой массой дети стали лакомиться еще теплыми тянучками, Владимир позвал Оливию в павильон. Их пребывание в Лесном подходило к концу, и ему хотелось перед отъездом в город вылепить ее руку.

— Когда ты уедешь домой, у меня останется хоть слепок.

Она с сомнением поглядела в окно:

— Посмотри, какой ливень! Не велика беда, если вымокну я, но тебе ни в коем случае нельзя.

— Чепуха! Тут всего минута ходу. Пойдем, голубка, мы так редко бываем вдвоем, а павильон — единственное место, где нам никто не мешает.

Они вышли, укрывшись под большим зонтом и с трудом удерживая его вдвоем под свирепыми порывами ветра. Придя в павильон, они растопили печь и высушили одежду. Потом Владимир достал глину и начал лепить. Оливия не шевелилась, глядя на пылающие угли. Методичная во всем, она хорошо позировала: рука ее, лежавшая на столе, ни разу не сдвинулась с выбранного скульптором положения. Но на лбу собрались морщинки: надо было сообщить Владимиру, что она останется с ним до Рождества. А как это сделать, не рассказав ему об опасениях Карола? Сама Оливия полагала, что лучше сказать ему всю правду. Если у человека нет надежды на

выздоровление, он должен это знать. Но разве можно послушаться доктора, который велел молчать? Оливия решительно вскинула голову.

— Володя...

Он поднял глаза, отложил глину и подошел к ней.

— Радость моя, что случилось?

— Володя, я не еду на той неделе в Англию. Я остаюсь с тобой.

— Остаешься... со мной?

Он опустил на колени, и она обняла его за шею.

— Помнишь, я говорила тебе, что не выйду за тебя замуж, пока не расскажу обо всем моим родным? Я хотела постепенно подготовить их — так было бы лучше. Но с тех пор я много думала об этом и вижу, что была не права. Жизнь моя принадлежит тебе, и мы поженимся, как только ты захочешь.

Владимир молчал.

— Бедная моя, — сказал он наконец, поглаживая ее волосы, — значит, Карол тебе все-таки сказал?

Оливия вздрогнула и высвободилась из его объятий.

— Почему ты так думаешь? Разве Карол... говорил тебе об этом?

— Мы с Каролом говорили о разных вещах. Что именно он сказал тебе, дорогая?

— Только то, что он... не совсем удовлетворен твоим здоровьем. Поэтому он и советовал мне остаться до зимы. Володя, мы с тобой взрослые, разумные люди, не лучше ли нам поговорить начистоту? Я не знаю, в какой степени, по мнению Карола, поражены легкие. Лондонский специалист считает твое положение серьезным, но не безнадежным. При таком здоровье, как у тебя, нам нельзя, конечно, иметь детей, но это еще не значит, что я не должна быть возле тебя, ухаживать за тобой, когда ты болен, и принести тебе покой и счастье, насколько это в моих силах. Ведь что бы ни случилось, для меня ты — всё, всё на свете.

При последних словах голос ее чуть дрогнул.

— Ненаглядная моя, лучше мне и в самом деле поговорить с тобой начистоту. Когда Карол разговаривал с тобой обо мне, он имел в виду не мое здоровье.

— Но он сказал...

— Да, я знаю. Я тоже не хотел тебе ничего рассказывать. Дело в том, что наше положение теперь осложнилось, есть даже некоторая опасность.

— Ты имеешь в виду... политическую обстановку?

— Да. Один из наших недавно арестован, и он оказался не тем, за кого мы его принимали. Он может причинить нам немало вреда, потому что не

умеет держать язык за зубами.

— Раз так, почему же ты не уезжаешь? Если тебе снова грозит арест, почему бы не поехать со мной в Англию, и как можно скорее, пока еще не поздно?

— Как раз поэтому, родная моя, я и не могу ехать. Мой внезапный отъезд будет выглядеть очень подозрительно и навлечет опасность на других. Уехать теперь — значило бы для меня то же, что для тебя бросить борьбу с оспой в самый разгар эпидемии. Таких людей сравнивают обычно с крысами, которые бегут с тонущего корабля.

— Я совсем не хочу, чтобы ты поступил, как трус. Но я все-таки не понимаю. Если оставаться здесь тебя обязывает чувство долга — тогда, спору нет, ты поступаешь правильно. Но ты уверен, что это так?

— Уверен. Как только мне разрешат выехать из усадьбы, я тотчас же поспешу в Петербург. Дело только за разрешением, — будь оно у меня, я выехал бы при первом тревожном известии,

— А когда ты узнал это?

— За два дня до отъезда Карола. Я рассказал ему обо всем, и, наверно, поэтому он и решил поговорить с тобой. Теперь, любимая, ты знаешь все, что я вправе тебе сказать. Не бойся: скорее всего дело обойдется благополучно. А теперь выслушай мою просьбу: немедленно возвращайся в Англию. Как только опасность минует, я в ближайшие месяцы позову тебя, и мы поженимся

— А если не минует? — Оливия выпрямилась и с вызовом посмотрела на Владимира.

— А если не минует, то ведь и ты, дорогая, не сможешь помочь мне. Только понапрасну изведешься от всех этих жестокостей.

— Неужели ты считаешь, что я должна уехать от тебя и от всех этих жестокостей, которые тебя ожидают, а не бороться вместе с тобой?

— Да. Потому что ты ничем не сможешь помочь.

— Так в чем же, по-твоему, смысл любви между мужчиной и женщиной? По-моему, вот в чем: ты мой, и все, что касается тебя, касается и меня. Жестокости, о которых ты говоришь, не исчезнут оттого, что я их не увижу. Если мне суждено потерять тебя, то я останусь здесь и буду с тобой до конца.

— Как хочешь, любимая, но с женитьбой лучше повременить. Если со мной что-нибудь случится, то ты, как английская подданная, будешь в безопасности. Но если ты выйдешь за меня замуж, посольство не станет защищать тебя, а при создавшихся обстоятельствах тебе лучше не лишаться этой поддержки.

— Меня несколько не волнует, если я и лишусь ее.

— Но меня это волнует. В конце концов дело ведь не в формальном браке, а в любви.

Обнявшись, они долго сидели молча.

— Видишь ли, — промолвила Оливия, подняв голову, — есть одно обстоятельство, которое меня особенно угнетает. Мне трудно примириться с тем, что я могу потерять тебя и остаться одинокой из-за дела, которое мне совсем чуждо, о котором я ничего не знаю.

— Дорогая, я не вправе открыть тебе...

— Да разве в этом суть? Разумеется, ты не должен открывать мне чужие тайны. Даже и сделай ты это, мне не стало бы легче. Если я лишусь тебя — какое мне утешение в том, что я буду знать, в чем именно тебя обвиняют? Мне нужна уверенность, твердое убеждение, которые облегчили бы мне дальнейшую жизнь.

— Уверенность в чем?

Оливия посмотрела ему прямо в глаза.

— В том, что в глубине души ты ни разу не усомнился в правоте своего дела.

Лицо Владимира сразу омрачилось, и душа его, раскрывшаяся перед ней, замкнулась снова.

— Нельзя усомниться в том, что подсказывают человеку его честь и чувство долга.

— Ах, да будь же искренен со мной до конца! — вскричала Оливия. — Будь искренен! Вопрос совсем не в том, как ты должен поступить сейчас: конечно, нельзя отречься от того, что ты сам когда-то избрал. Я говорю совсем не об этом. Но я хочу знать, как ты поступил бы, если б мог начать жизнь сначала, стал бы ты опять...

Он зажал ей рот.

— Молчи, дорогая, молчи! Если бы каждый из нас мог начать жизнь сначала, многие вообще не пожелали бы родиться.

Непонятный страх охватил Оливию. Помолчав, Владимир снова заговорил:

— Ты, конечно, вправе спросить меня: жалею ли я о том, что избрал такой удел? Отвечаю тебе как на духу: я ни о чем не жалею. Я и другие, мне подобные, — неудачники. Мы не сумели свершить то, к чему стремились. Мы оказались недостаточно сильны, и народ не был еще готов к действию. Потому-то мы и потерпели поражение, это ясно. Но я предпочитаю потерпеть поражение, нежели уклониться от борьбы, и люди, которые придут нам на смену, обязательно победят. Вот и все. Поняла? И больше,

умоляю тебя, никогда не говори со мной об этом.

Присущее Оливии чувство сдержанности тотчас же откликнулось на эту просьбу. Она высвободилась из объятий Владимира и встала:

— Доктор Славинский говорил мне, между прочим, что у тебя сохранилось много старых рисунков. Ты ведь не сжег их? Мне очень хотелось бы на них взглянуть.

Очевидно, она выбрала неудачную тему. Лицо Владимира нахмурилось, и в голосе послышалась досада:

— Карол мог бы придержать язык за зубами. Удивляюсь — как правило, он не болтлив. Зачем тебе смотреть на этот старый хлам?

— Да просто из чувства дружеского интереса к тебе и ко всему, что с тобой связано.

— Что со мной связано! Да, в этом есть кое-что поучительное.

Оливия приняла непринужденный вид.

— Прежде чем судить о твоих рисунках, я должна их увидеть. Что же касается всего остального, то мы не для того пришли сюда под таким ливнем, чтобы говорить об этом.

— Правильно, моя славная Британия. Так и быть, покажу тебе рисунки, хоть они и не стоят того, чтобы на них смотреть. Ты и в самом деле похожа на твою родину — Британию: великолепно, но немножко...

— Суховата? Это верно. Дик Грей тоже говорил мне, что я суховата. Но в этом есть свои преимущества. Тебе не кажется, что прежде чем открывать папку, с нее нужно вытереть пыль? Дай я сделаю это сама, тряпкой орудуют совсем не так.

Среди рисунков, небрежно засунутых в папку, оказалось много скомканных и грязных, а некоторые были разорванные и обгоревшие. Большой частью это были грубые наброски углем или цветным карандашом: руки, ноги, искривленные стволы деревьев, изогнутые ветви. Попадались и сцены из сельской жизни: грызущиеся собаки, дети с котомками за плечами, старики за беседой, бабы у колодца. Несмотря на незрелость и даже неправильность самих рисунков, они поражали глаз страстностью изображения, мощной жизненной силой. Даже Оливия, ничего не понимавшая в живописи, видела, что мускулы рук и ног были кое-где изображены неправильно, но необыкновенная живость, бьющая через край сила и энергия, отчаянная воля к жизни, запечатленные в образах, заставили бы и более искушенного, чем Оливия, критика забыть о технических недостатках.

— Разве ты никогда не наблюдал животных или природу в состоянии покоя? — сказала Оливия, кладя листки на стол. — На твоих рисунках все

куда-то мчит, словно подхваченное вихрем.

— Зато теперь я вижу их в состоянии покоя.

Он смотрел на скульптуру мертвого сокола. Оливия проследила за его взглядом.

— Если ты называешь это состоянием покоя... Ты собираешься сжечь рисунки? Не надо.

Она взяла у него из рук большой рулон бумаги, перехваченный бечевкой, и стала ее развязывать.

— Здесь ничего нет, — поспешно сказал Владимир. Оливия подняла голову.

— Ты не хочешь, чтобы я видела эти рисунки? Тогда не стану, прости, пожалуйста.

Держа рулон в руках, он посмотрел в сторону, потом протянул рисунки Оливии.

— Я не против того, чтобы ты их видела. Это этюды для одной картины, которую я задумал, но так и не мог закончить, — меня арестовали. Мне она тогда... очень нравилась. Если я когда-либо и нарисовал что-нибудь настоящее, то именно это. Посмотри.

Робея, сама не зная почему, Оливия развязала сверток и разгладила листы. На первом были только предварительные наброски: зарисовки рук, фигур, различных тканей, старинной одежды. На следующих листах были изображены два лица, много раз повторявшиеся дальше. Некоторые наброски были наполовину стерты или соскоблены, словно художник вдруг падал духом и уничтожал нарисованное.

Одно из лиц — женское, с правильными чертами — принадлежало молодой женщине восточного типа. На всех рисунках головной убор ее был богато украшен, а в широко раскрытых глазах застыл беспредельный ужас. Другое лицо было мужское. Оливия долго всматривалась в него, но так и не могла разгадать его непостижимого выражения. На последних листах мужчина высоко поднял женщину на вытянутых мускулистых руках: казалось, он вот-вот с силой отшвырнет ее прочь от себя, а женщина, отчаянно сопротивляясь, пытается вырваться из его неумолимых объятий.

— Объясни мне, Володя, что это значит?

Он достал с полки книгу и, перелистывая страницы, подошел к Оливии.

— Я хотел нарисовать иллюстрации к драматической поэме, написанной лет двадцать назад.<sup>[12]</sup>

— Прочти мне это место, пожалуйста, вслух, но только медленно, я с трудом понимаю русские стихи.

— А эти стихи особенно трудны — они написаны в старинном стиле. Это о Стеньке Разине, о казаке, который возглавил в семнадцатом веке крестьянское восстание.

— Ваш Джек Кэд<sup>[14]</sup>? Припоминаю. Его, кажется, поймали и сожгли заживо или что-то в этом роде.

— Да, с ним беспощадно расправились. Я изобразил его, когда он плывет со своими товарищами на челне по Волге. Стенька влюбился в персидскую княжну, которую они похитили. Один из его друзей бросает ему упрек, что ради этой женщины он забыл про их общее дело. Когда принимаются за трапезу, казаки, согласно древнему обычаю, бросают в Волгу хлеб да соль, чтобы умиловить владычицу рек. Стенька останавливает их. Вот это место:

Нашел чем потчевать! Ее не удивишь  
Сукром хлеба, хлеб ей не в новинку;  
Она сама, коль надо, бьет суда  
И вволю хлеб, родная, добывает.

*(Встает.)*

Нет, Волгу-матушку не так благодарят;  
Вот мой подарок будет ей дороже!

*(Оборачивается лицом к реке.)*

Эх ты, Волга, матушка-река,  
Приютила ты, не выдала меня,  
Словно мать родная, приголубила,  
Наделила вдоволь славой, почестью,  
Златом, серебром, богатыми товарами;  
Я ж тебя ничем еще не даривал,  
За добро твое ничем не плачивал!  
Не побрезгай же, родимая, подарочком,  
На тебе, кормилица, возьми!

Тут он хватает княжну и бросает ее в реку.

— Володя, — прервала Владимира Оливия, повернувшись к нему с рисунком в руках, — по-моему, это просто талантливо.

К ее удивлению, он заговорил с горячностью, которой она никак от него не ожидала:

— Да какой там талант! Не бывать вороне соколом! Неужели ты не понимаешь, что я просто дурачился — портил зря хорошую бумагу,

сработанную честным тружеником, а не таким бездельником, как я, вообразившим, что раз я дворянин, то могу бить баклуши, есть даровой хлеб и считать себя славным малым! Чем я лучше пьянчуги Вани или картежника Петра? Разве только тем, что одежду не так пачкаю. Знаешь, как мужики называют мое увлечение лепкой? Барской причудой. И они правы. Они будут правы даже тогда, когда перережут нам всем глотки. Единственное оправдание нашей жизни в том, чтобы помочь им освободиться от еще худших паразитов, чем мы сами. А вот этого-то мы и не сумели сделать. От безделья и пустого чванства мы все прогнили, насквозь прогнили! Ох, уж эти барские причуды!

Втиснув рисунки в папку, он отшвырнул ее в сторону. Оливия не спускала с Владимира глаз.

— Когда ты так говоришь, я теряю всякую надежду тебя понять. Смысл твоих слов не доходит до меня.

— И никогда не дойдет!

— Володя!

С минуту он стоял у окна спиной к Оливии, глядя на проливной дождь. Потом, пожав плечами, повернулся к ней.

— Дорогая, ни ты, ни я тут не виноваты. Иначе у нас с тобой и быть не может, — слишком различные мы натуры. Нам снятся разные свиньи.

— Разные?..

— Прости, я совсем забыл, — ведь ты не читала книгу «За рубежом»<sup>[15]</sup>. Там рассказывается об одном русском, который живет в Париже. Как-то ночью он так закричал во сне, что разбудил весь дом. Оказывается, ему приснилась страшная свинья. Хозяйка говорит ему, что это часто случается с ее жильцами, так как по соседству с домом находится бойня и по ночам оттуда доносится визг свиней. «Ах, мадам, — ответил русский, — тут есть разница. Если французу снятся свиньи, то это свиньи, которых едят люди; а если свиньи приснятся русскому, то это такие свиньи, которые едят людей».

— Все равно ничего не понимаю, — грустно сказала Оливия. — Мне очень жаль, но я все равно не понимаю.

Владимир нетерпеливо повернулся к окну.

— Давай лучше вернемся к работе, — устало проговорил он. — Ну как тебе понять?

Он придал ее руке нужное положение и начал лепить. Однако вскоре отодвинул глину в сторону.

— Бесполезно. Ничего не выходит.

— Сегодня ты слишком устал. Отдохни.

— Ты думаешь, это только сегодня? Пойдем лучше назад к детям.

Оливия с чувством облегчения набросила на голову платок и взяла в руки большой зонт. Присутствие посторонних хоть на время избавит ее от необходимости постигать непостижимое.

Выйдя под проливной дождь, они увидели, что навстречу им по склону холма с трудом поднимаются два человека. Первый из них, судя по одежде, — кучер, обратился к Владимиру:

— Будьте добры, ваша милость, не откажите в ночлеге проезжим. Я кучер князя Репнина. Вез к ним ка охоту гостя по Торопецкой дороге, да вот наскочил ненароком на поваленное дерево. Коляска перевернулась, колесо отскочило, да и сами чуть в озеро не угодили. А тут еще погодка такая распроклятая... Уж коли ваша милость позволит...

— Никто не покалечился?

— Нет. Да барин вымок до нитки и прозяб, а до места еще далече.

— Конечно, ночуйте у нас. Сегодня уже вам нельзя ехать. Сколько вас всего?

— Трое. Барин, его слуга да я. Барин-то, видать, из французов. Я ихнего разговору не разумею. Слуга остался с лошадьми, а барин пошел со мной. Может, ваша милость потолкует с ним?

— Добро пожаловать к нам, — сказал по-французски Владимир. — Я сейчас распоряжусь, чтобы сюда доставили ваши вещи. Ну что вы, какое же в этом неудобство? В наших краях мы привыкли к подобным происшествиям. Входите, прошу вас.

Он в сопровождении кучера направился к дому, оставив Оливию с незнакомцем, который, продолжая извиняться, вошел в павильон, скинул с себя плащ и протянул к огню озябшие руки. У него была замечательная внешность: парижанин с головы до пят, с выразительными глазами и кольцами вьющихся седых волос. Таких людей, подумала Оливия, обычно величают «маэстро». Лицо гостя показалось ей странно знакомым. Очевидно, он был какой-то знаменитостью и она видела его фотографии.

— Разрешите представиться, — обратился он к ней, — моя фамилия Дюшан.

Оливия вздрогнула: не удивительно, что лицо его показалось ей знакомым.

— Мосье Леон Дюшан, художник?

Гость поклонился.

— Мой друг князь Репнин пригласил меня принять участие в осенней охоте, и я согласился, так как давно хотел увидеть настоящий девственный лес. Я впервые в России и совсем не знаю русского языка. Нетрудно

понять, что, когда экипаж сломался и мы очутились одни в этой глуши, я всей душой пожалел, что покинул свой уютный дом в Париже. Я счастлив встретить здесь такой радушный прием.

— Для вас уже готовят комнату, — сказал подоспевший Владимир, задыхаясь от быстрой ходьбы. — Сядьте поближе к огню и отдохните. Ужин будет скоро готов. Ваш слуга разбирает вещи.

Кровь прихлынула к лицу Владимира, когда он услышал имя незнакомца. Но он тут же сильно побледнел. О встрече с Леоном Дюшаном он мечтал еще в юности. «Если бы только попасть в Париж, к Дюшану, — думал тогда Владимир, — он поверил бы в меня и помог мне стать настоящим художником».

Художник придвинул кресло к огню, не сводя с хозяина пронизательных темных глаз. Он, как и Бэрни, сразу подметил странную красоту головы Владимира и, несмотря на усталость, почувствовал в озябших пальцах зуд — так захотелось набросать эту голову на бумаге.

— Я, кажется, попал к коллеге, — проговорил он, указывая на глину. — Мосье — скульптор?

Владимир сейчас же насупился.

— Всего лишь любитель, не больше.

Мрачный тон этого ответа несколько удивил Дюшана, но голос его звучал по-прежнему любезно.

— Вы слишком скромны, мосье. Скульптура этой большой птицы...



Он не договорил и, все больше изумляясь, стал разглядывать сокола.  
— Это ваша работа? Но это просто замечательно. Уверю вас — замечательно. Вы талантливы, бесспорно талантливы.  
— Вы слишком снисходительны, — произнес Владимир таким тоном, что сразу отбил у собеседника охоту продолжать разговор. Француз с недоумением посмотрел на него.  
— Простите, — тихо сказал он, — я, кажется, допустил бестактность.  
Оливия сделала отчаянную попытку перевести разговор на другую

тому. Вся эта сцена была для нее невыносимо мучительна, и она сказала первое, что пришло ей в голову:

— Усадьба князя Репнина очень далеко отсюда, и доехать туда за один день трудно даже в хорошую погоду.

— Вы правы. Перед отъездом я справился, нет ли по дороге жилья, где мы могли бы остановиться в случае необходимости. Но мне ответили, что нет. Я очень сожалею, что пришлось так бесцеремонно ворваться в ваш дом. Даже после того, как у нас сломалась коляска, мы долго не решались вас беспокоить.

— Дело совсем не в том, что вы нас побеспокоили, — сказал Владимир тем же ледяным тоном. — Справедливости ради я должен поставить вас в известность, что люди избегают посещать наш дом. Поскольку вы иностранец и человек известный, вам нечего опасаться серьезных неприятностей из-за того, что вы переночуете здесь: разве только урядник попросит дать объяснения. Дело в том, что я нахожусь под полицейским надзором, как человек политически неблагонадежный и отбывший заключение.

Лицо художника, вначале растерянное, внезапно просветлело.

— Да это просто честь для меня, — проговорил он, протягивая Владимиру руку. — Мы, старое поколение, тоже немало выстрадали во Франции. Лучший друг моей юности был сослан в Новую Каледонию<sup>[16]</sup> и там погиб, а я... я вот теперь беседую с вами... — Он пожал плечами. — Мне удалось спастись. Я выжил, чтобы посвятить себя живописи.

В дверь постучали, и Владимир взял поднос из рук Теофилакты.

— Ваша комната готова. Тетушка прислала вина. Она полагает, что это спасет вас от простуды.

Владимир взял со стола папку, освобождая место для подноса: при этом один из рисунков упал к ногам гостя. Тот поднял его. Это был эскиз головы Стеньки Разина.

— Черт возьми! — вырвалось у Дюшана. Несколько минут он молча разглядывал рисунок. Потом повернулся к Владимиру. От парижской учтивости не осталось и следа. — А это... это тоже вы сделали? — с неожиданной резкостью спросил он.

— Я рисовал это очень давно, в юности.

— А есть еще что-нибудь? Можно посмотреть? Лицо Владимира побелело и даже как будто заострилось.

— Если вам угодно, — ответил он, кладя папку на стол. — Когда-то я мечтал привезти их в Париж и показать вам.

— Так почему же вы не?...

— Меня арестовали.

— Так. А потом?

Владимир отвел глаза в сторону, засмеялся и пожал плечами.

— Не кажется ли вам, что мне уж поздно думать о карьере художника и начинать все сначала? Мне тридцать два года и... у меня чахотка.

Француз сел и открыл папку. Некоторое время он молча просматривал рисунки. Оливия и Владимир, потупив глаза, стояли около печки. Прошло несколько минут, показавшихся девушке вечностью. Наконец Дюшан встал и, подойдя к другому столу, стал пристально вглядываться в скульптуру сокола.

— Но это же преступление! — вскричал он, резко повернувшись к ним — Слышите? Самое настоящее преступление! Вас посмели арестовать... и все это погубило! Боже! Что за страна! — Гневным жестом он воздел к небу руки. — Но и вы тоже хороши — нечего сказать! Загубить свою жизнь из-за политики, из-за заговоров, когда сам всемогущий господь создал вас скульптором! И без вас нашлось бы кому ввязаться в борьбу! А вы могли бы стать...

— Не надо, — умоляюще перебила его Оливия, — не будем говорить о том, что могло бы быть: надо исходить из того, что есть.

Дюшан сразу замолчал. Оба посмотрели на Владимира.

— Мадемуазель права, — сказал художник, закрывая папку. — Я злоупотребил вашим терпением, пустившись в такие пространные разглагольствования. С вашего позволения я пойду переоденусь.

Оливия направилась с художником к выходу. В доме на нее тут же налетела тетя Соня, до смерти напуганная тем, что салат не будет отвечать всем требованиям французской кухни. Когда ужин был готов, Оливия поспешила за Владимиром. Она опасалась, как бы назойливая тетушка не опередила ее.

Еще не совсем стемнело, и в сумерках, при красном отблеске раскаленных углей, она увидела, что комната пуста, а папка раскрыта. Печка была забита обуглившейся бумагой. Оливия медленно наклонилась и вытащила скомканный тлеющий лист, на котором все еще можно было различить борющиеся фигуры Стеньки Разина и персидской княжны.

## ГЛАВА VII

Прошло Рождество, а Оливия все еще была с Владимиром. Они переехали в Петербург через несколько дней после визита Дюшана.

Владимир снял для нее комнату у скромных, приветливых людей, рядом с домом, в котором жил сам. Работы у Оливии не было, и она усердно изучала русский язык, историю и литературу. Медленной вереницей тянулись недели, складываясь в томительно длинные месяцы.

Впервые в жизни Оливия не знала, чем заполнить свой день. Ей — человеку деятельному, решительному и практичному — казалось, что легче вынести любой сокрушительный удар судьбы, чем жить в этой загадочной неизвестности, в беспомощном ожидании чего-то страшного, что может в конце концов и вовсе не наступит. Владимир был теперь так занят, что они редко бывали вместе. Служба, дававшая ему средства к жизни, и «дело», о котором они с Оливией по молчаливому уговору никогда не говорили, отнимали у него все время. Но даже те редкие минуты, которые они проводили вместе, не приносили им радости и утешения. Оба были так взвинчены, что уже не могли, как в былые времена, непринужденно и откровенно беседовать на отвлеченные темы. Если же один из них и делал попытку заговорить о том, что волновало обоих, то неизменно наталкивался на невидимую преграду, отделявшую их друг от друга. Томительная, непонятная таинственность и смутное, леденящее разочарование сделали Оливию, и так всегда сдержанную, еще более замкнутой. Для нее — натуры уравновешенной и постоянной — было невероятно трудно расстаться с привычками и стремлениями своей молодости, бросить любимую профессию и последовать за возлюбленным в неведомый, грозный мир. Пожалуй, для нее это было труднее, чем для любой другой женщины, ибо романтика неизведанного, для многих столь заманчивая, никогда не влекла Оливию. И, совершив этот прыжок в неизвестность, она не нащупала под ногами твердой почвы. Несмотря на их взаимную, не знающую сомнений любовь, они, казалось, все больше отдалялись друг от друга. Каким бы безнадежным ни представлялось ей будущее, Оливия не роптала бы, зная она, что своим присутствием облегчает участь Владимира. Но его горькая жалоба: «Ты не понимаешь! Не понимаешь!» — удручала и обескураживала ее, заставляя все больше замыкаться в себе. И он был прав. Она понимала лишь одно: он страдает, и она не в силах облегчить его страдания.

Владимир действительно страдал так сильно, что мир словно померк для него. Приезд Оливии воскресил в нем угасший интерес к жизни, но помочь ему она ничем не могла. Днем он машинально выполнял свои обязанности, а ночью мучился кошмарным ожиданием. Порой ему хотелось, чтобы беспощадное чудовище поскорее расправилось с ним, — так изматывали его эти безмолвные пустые часы, каждый из которых мог

стать для него последним. Оглядываясь на прожитую жизнь, он видел призрачную череду неосуществленных желаний, задуманных, но невылепленных статуй, непознанных радостей, — трагические обломки того, что могло бы быть. А в будущем? Неинтересная, утомительная работа, тяжелые, скучные, надоевшие обязанности... Унылое, беспросветное существование. А затем, быть может, бесполезное и бесславное мученичество за идею, которую он так и не постиг до конца. И в завершение всего — могильный мрак.

Теперь, когда опасность была так близка, им овладело безрассудное желание взять от жизни все, что можно. Оливия никогда не поймет, чего ему стоило отказаться от ее предложения — жениться на ней сейчас же. Да разве может она понять это? В ее упорядоченной жизни нет места страстям. Было бы преступлением принести ее в жертву своему желанию насладиться жизнью — ей и так тяжело.

Относительно ее чувств к себе он не питал никаких иллюзий. Оливия, конечно, любит его, и если бы он пожелал — отдалась бы ему сейчас же, не задумываясь и не сомневаясь. Но он знал также, что она сделает это, лишь желая облегчить его участь: с тем же чувством она пожертвовала бы ради него своей правой рукой или всей жизнью. Он завоевал ее безграничную преданность, но не пробудил в ней женщины. Хотя Оливии шел уже двадцать седьмой год и она с юных лет жила одна, близко соприкасаясь с грубой действительностью, зрелище людских трагедий и страстей не нарушило девичьей целомудренности ее восприятий. И потому, как ни устал он от борьбы и как ни изголодался по счастью, лучше остаться голодным, чем нарушить ее покой. Несправедливо требовать от нее так много, раз дни его уже сочтены и вскоре он ее покинет. Но бывали мгновения, когда именно эта мысль — мысль о близкой и неминуемой кончине — повергала его в такую бездну отчаяния, что он едва мог устоять перед безумным искушением отдаться хоть на миг этой жажде счастья и успеть испить чашу радости до наступления рокового часа.

Однако, судя по всему, роковой час мог и не пробить. Начиная с августа Владимир жил в напряженном ожидании, ночь за ночью внушая себе, что раз он жил как порядочный человек, то сумеет и умереть достойно, а это в конце концов самое главное. Теперь наступил уже январь, а он все ждал.

— Гроза, должно быть, прошла стороной, — сказал как-то раз Владимир Оливии. Они сидели у него в комнате, он работал. — Иначе она бы уже разразилась.

Оливия едва улыбнулась этим обнадеживающим словам. Долгие

месяцы неизвестности лишили ее обычной бодрости и уверенности.

— Если ты действительно убежден в этом, то, пожалуй, я поехала бы домой и повидалась с родными. Они очень беспокоятся обо мне. Но ты в самом деле уверен?

— Как же я могу быть уверен в этом? Но, как видишь, до сих пор ничего не случилось. Поезжай, голубка, твои родители соскучились по тебе.

Она покачала головой.

— Я ведь говорила тебе, что не уеду, пока не буду уверена, что тебе ничего не грозит. Может быть, ты или кто-нибудь из твоих друзей разузнает поточней, как обстоят дела?

— Это можно будет сделать, только когда приедет Карол. Ему часто удается добывать такие сведения, каких мы сами никогда не могли бы получить. У него друзья и связи повсюду.

— Как ты думаешь, он приедет на той неделе?

— Весьма вероятно. Царь сейчас отбыл из столицы, и Каролу, возможно, дадут разрешение.

Владимир и сам был на несколько дней выслан из Петербурга. Его, как и прочих подозрительных лиц, высылали каждый январь, когда совершался обряд освящения воды, на котором обычно присутствовал царь. То же случалось и во время других важных празднеств и торжеств. Оливия и Владимир провели этот вынужденный отпуск на Ладожском озере и вернулись лишь после окончания праздника.

— Тогда я дождусь Карола, — бесстрастно сказала Оливия и выглянула в окно. К горлу ее подступал комок.

— Володя, — с трудом проговорила она наконец, — когда я уеду...

Он сидел за столом и вычерчивал шестеренки.

— Да?

Оливия повернула голову и стала смотреть, как он работает. Она не была впечатлительна, но вид этих чудесных, тонко чувствующих рук, вынужденных за мизерную плату вычерчивать детали машин, вызвал слезы у нее на глазах. Владимир не заметил этого — голова его склонялась над чертежом.

— Да? — переспросил он.

Оливия все еще колебалась — было страшно вымолвить это... Когда же она наконец заговорила, голос ее звучал так спокойно, словно речь шла о самых обыкновенных вещах:

— Может быть, мне не возвращаться?

Рука, державшая карандаш, застыла в воздухе. Владимир,

неподвижный, как статуя, ничего не ответил.

— Володя, — с отчаянием проговорила Оливия. Он положил карандаш.

— Никто, кроме тебя самой, не может решить этого, — сказал он ровным, тихим голосом. — У нас с тобой так: ты все время даешь, а я только беру, и потому я не могу ответить на твой вопрос. Если ты считаешь, что совершила ошибку...

Оливия вдруг вспомнила, как призналась ему летом, что весь ее мир в нем. Теперь она чувствовала это еще сильнее, но повторить тех слов сейчас не могла. Она лишь неуверенно шепнула:

— А может быть, это... ты ошибся?

Владимир промолчал.

— Видишь ли, — с тоской продолжала она, — ты так часто говоришь мне, что я не могу понять...

— Это верно, понять ты не можешь. И так лучше... для тебя.

Владимир встал, намереваясь выйти. В выражении его лица, в движениях появилось что-то натянутое. Оливия испугалась. Она не дала ему уйти, схватила за руку.

— Это ты, а не я, не можешь понять!

От ее прикосновения он словно окаменел.

— Может быть. В конце концов не имеет значения, кто из нас не сумел понять другого.

— Володя! Почему ты так суров со мной? Неужели ты не видишь, что я стараюсь поступать так, как нужно?

С губ Владимира сорвался приглушенный смешок, и он отдернул руку.

— Ты всегда стараешься поступать так, как нужно, дорогая, это бесспорно, но не думаешь о том, чего это стоит другим.

И, уйдя в спальню, он затворил за собой дверь.

У Оливии перехватило дыхание, словно от быстрого бега, и она в изнеможении опустилась на стул. Кто-то тяжелой неторопливой поступью вошел в комнату. «Служанка с чайником», — подумала Оливия, склонившись еще ниже над незаконченным чертежом. Вошедший остановился у ее стула, и она подняла голову. На нее смотрел Карол, такой большой и невозмутимо спокойный.

— Ах! — чуть слышно произнесла она. — Это вы? Происшедшие в ней перемены — осунувшееся лицо, отяжелевшие от бессонницы веки, жесткие линии у рта — не ускользнули от его всевидящих глаз.

— Вам, кажется, пришлось здесь не сладко? — спросил он.

Его ленивый, протяжный голос почему-то сразу успокоил Оливию.

— Что, Володе хуже?

— Да, но, думается мне, дело тут не в состоянии здоровья.

Он терпеливо молчал, внимательно глядя на нее и догадываясь обо всем еще до того, как она начала рассказывать. Оливия тяжело вздохнула.

— Ужасно быть рядом и видеть его таким. Это ожидание его убивает, а я ничем не могу помочь и даже хуже — только мешаю ему. — Она снова склонила голову над чертежом. — Если б я могла хоть чем-то ему помочь! Но я даже не в силах ничего понять. Я пыталась, но тщетно.

— А вам не кажется, что было бы гораздо лучше, если бы вы и не пытались понять? Примиритесь со всем, как с неизбежностью. Уверяю вас, для того чтобы помочь ближнему, совсем не надо копать у него б душе.

— Но я не могу так. Он теперь из-за меня еще несчастней, чем прежде. Может быть, ваше присутствие принесет ему облегчение. Вы ведь всегда все понимаете.

Карол улыбнулся, и Оливия впервые заметила, какое непреклонное у него лицо, когда он не улыбается.

— Я? Ах да, это ведь моя профессия — все понимать. Тут у меня огромная практика.

Вошел Владимир, протягивая гостю руку и стараясь казаться веселым.

— Привет, Карол! А мы-то ждали тебя не раньше следующей недели.

— Мне выдали разрешение на эту неделю, и, если б я просил переменить срок, меня могли бы и вовсе не пустить. Что нового?

— Да ничего особенного. Все та же рутина. А у тебя, дружище, что-то замученный вид. Перетрудился?

Оливия не заметила в Кароле никаких перемен. Но после слов Владимира она пригляделась к нему повнимательней, и ей тоже показалось, что он стал каким-то другим. Немного поговорив с друзьями, Карол вскоре ушел, сказав, что у него «куча всяких глупых дел» и что завтра он придет к ним на весь день. Поселился он там, где всегда. Когда дверь за ним захлопнулась, Оливия и Владимир некоторое время молчали.

— Оливия, — торопливо заговорил, наконец, Владимир, не глядя на нее, — прости меня, я был с тобой груб. Но ты должна сама решить, что для тебя лучше. Я понимаю, что для тебя все это очень тяжело.

Она повернулась к нему и припала лицом к его плечу.

— Если мне и тяжело, так только оттого, что я мешаю, а не помогаю тебе. Для меня это вопрос правого и неправого дела. Как же мне быть?

Владимир привлек ее к себе.

— Объясни, что именно тебя беспокоит? Мне кажется, мы оба бродим в потемках и понапрасну мучим друг друга.

— Видишь ли, ваша борьба кажется мне не только неправой, но и тщетной. Нечего ждать добра, когда на насилие отвечают насилием. Если у власти жестокое и глупое правительство — то тем больше у вас оснований руководствоваться не злобой, а другими, более высокими чувствами. А вы возвращаетесь в заколдованном кругу: правительство обошлось с вами зверски, и вы стараетесь отомстить ему; оно наносит удар вам — вы ему. А какая польза от этого народу?

— Дело совсем не в мести: дело в верности.

— Верности вашему делу? Мир не станет лучше оттого, что вы так яростно отстаиваете свою правоту. Я не могу... — У Оливии задрожали губы. — Пока мы не придем к взаимопониманию в таком важном вопросе, нам лучше не думать о женитьбе. Как бы я тебя ни любила, я буду лишь раздражать и огорчать тебя неверием в правоту твоего дела.

Владимир наклонился и поцеловал ее волосы.

— Дело не в том, что ты не веришь, а в том, что ты не понимаешь... Что случилось, Маша? Кто-нибудь ко мне?

В дверь стучала служанка. Владимир вышел в коридор и вскоре вернулся. Вид у него был озабоченный.

— Мне надо сейчас же уйти по делу. Как только вернусь, сразу зайду к тебе.

— Это надолго?

— Надеюсь, нет. Но, может быть, придется задержаться.

— Смотри не промокни, ладно? Эта сырая погода вредна для тебя.

— Скоро она станет лучше. К вечеру, наверно, подморозит. До свидания, любимая.

Она протянула ему руку, но он привлек ее к себе и, жадно поцеловав, с поспешностью вышел.

Оливия отправилась домой. На улицах лежал мокрый, грязный снег. Достав словарь, грамматику русского языка и наполовину прочитанную книгу, она часа три подряд занималась. Потом почувствовала, что в комнате стало очень холодно, и, взглянув на окна, увидела, что они обмерзли.

Оливия ждала Владимира до вечера. Беспокойство и неизвестность давно уже повседневно сопутствовали ей, и она привыкла терпеливо ждать. Но когда пробило восемь, а Владимира все не было, Оливия встревожилась и поспешила к нему на квартиру.

Мокрый снег, лежавший на мостовой несколько часов тому назад, превратился теперь в плотный, скользкий, гладкий, как стекло, лед, звеневший под ногами. Дул северо-восточный ветер, и температура продолжала резко падать.

Владимир еще не вернулся. Приготовив все к его приходу, чтобы он мог сразу согреться, она села и стала ждать. В половине десятого он, тяжело ступая, поднялся по лестнице и неверными шагами вошел в комнату. В лице его не было ни кровинки, дыхание прерывалось, руки повисли, как плети. Борода и одежда обледенели.

— Благодарение богу! — пробормотал он, когда Оливия бросилась к нему.

Владимир так ослабел, что безропотно поручил себя заботам Оливии. Сначала ей показалось, что она так и не сможет отогреть его. Они заговорили лишь через полчаса: слишком занятой Оливии и невероятно измученному Владимиру было не до разговоров.

— А теперь, — произнесла наконец Оливия, усаживаясь у его кровати, — расскажи мне, что же, собственно, произошло.

— Сейчас уже все в порядке, но среди наших поднялась тревога. Положение казалось угрожающим, и они срочно вызвали меня. Мне надо было попасть в один дом, и по пути я заметил, что за мной увязался шпик. Пришлось петлять несколько часов, чтоб от него избавиться.

— А как это можно сделать?

— Надо замести следы. Кружишь и петляешь по всему городу, словно заяц, иногда скрываешься в проходных дворах и выходишь через них на другие улицы. Ни в коем случае нельзя заходить к своим, когда по пятам следует шпик.

— Чтобы не навлечь на них подозрений?

— Разумеется. А я никак не мог от него отделаться.

Я столько кружил по городу, что мы оба совсем вымокли. Да тут еще погода изменилась.

— Но ты все-таки отделался от него?

— Ну да. И сделал то, что нужно. Думаю, теперь мы все в безопасности.

— Тогда ложись спать. Я буду в соседней комнате, на случай если понадобится.

— Дорогая, тебе необходимо лечь самой. Иди к себе. Не бойся за меня, голубка! Ведь ничего страшного со мной не случилось. Я просто устал и озяб.

Владимир понимал не меньше Оливии, сколь опасно для него так простыть. Но раз он предпочитал говорить об этом в таком легком тоне, она решила не омрачать его настроения и беспечно ответила:

— Будь по-твоему, мой милый. Но мне все-таки хочется побыть здесь, рядом с тобой. Ничего не поделаешь, раз уж я родилась такой беспокойной.

Она ничего больше не сказала, но послала Каролу записку, прося его немедленно прийти. Рассыльный принес ответ, что Карола нет дома и что он вернется не скоро. Оливия ждала в соседней комнате, неслышно подходя время от времени к двери в спальню — послушать, как дышит Владимир. Около часу ночи он сдавленным голосом окликнул ее, и Оливия вошла в комнату. Владимир сидел на кровати, глаза его блестели, на лице горел лихорадочный румянец.

— Прости, что беспокою тебя... но я, кажется... здорово попался... на этот раз.

Через час температура резко поднялась, и больной начал бредить. Пока она пыталась успокоить его, послышался звонок, и Оливия вышла в переднюю встретить Карола. Заиндевевший и облепленный с головы до ног снегом, он походил на лохматого белого медведя.

— Опять плеврит? — спросил Карол, сняв пальто и тщательно, неспеша стряхивая с бороды льдинки.

— По-моему, что-то похуже. Боюсь, что крупозное воспаление легких.

Карол прошел за ней в комнату больного. Когда они вернулись в гостиную, он, глядя Оливии прямо в глаза и не колеблясь, объявил напрямик:

— Вы правы. Двустороннее воспаление, и притом тяжелое.

Лицо Оливии стало белым, как воротник ее платья, но голос звучал спокойно:

— Есть надежда?

— Очень слабая. Другой медицинской сестре я сказал бы — почти никакой, но вы сами знаете, что в таких случаях надлежащий уход опытной сиделки значит не меньше, чем помощь врача. Пожалуй, только вы и можете его спасти. Во всяком случае, попытайтесь.

## ГЛАВА VIII

— Думаю, опасность миновала. Самое страшное уже позади, — сказал Карол, выходя из комнаты Владимира.

Вздвигнув, Оливия подняла голову. Напряжение последних двух недель так измотало ее, что она не могла просидеть и пяти минут, чтобы не задремать. Она с самого начала сама уговорила Карола не нанимать вторую сестру:

— Попадется еще какая-нибудь недобросовестная или забывчивая сиделка, а ведь малейшая небрежность может его убить. Мы будем

спокойней, если станем все делать сами. И потом, я очень вынослива, гораздо выносливей, чем вы полагаете.

Он согласился — пусть попробует, и Оливия, бесспорно, с честью справилась со своей задачей. Никогда бы Каролу не найти такой исполнительной, умелой медицинской сестры. Но зато оба еле держались на ногах. Две последние недели они спали лишь урывками. Даже Карол — недюжинный здоровяк — начал страдать от слабости и головокружений, особенно когда нагибался. А Оливия, думал он, стала похожа на ходячее привидение.

Сейчас он серьезно посмотрел на обращенное к нему бледное лицо.

— Вы его, дорогая, можно сказать, воскресили из мертвых. Я почти не надеялся на столь благополучный исход. Теперь он обязательно выживет, только бы не случилось чего непредвиденного.

Оливия, чуть приоткрыв рот, смотрела на него. В лице ее было столько растерянности, что Карол испугался: вот сейчас она заплачет или лишится чувств. Но Оливия не сделала ни того, ни другого. Она просто уронила голову на стол и тут же уснула.

В конце третьей недели Владимиру разрешили сесть, но, конечно, в кровати и всего на несколько минут. Событие это стало настоящим праздником для всех троих, хотя Владимиру пришлось вскоре опять лечь. Говорить больному было еще очень трудно, его слабый голос то и дело прерывался. Наконец Владимир совсем умолк и теперь лежал тихо, держа тонкими пальцами Оливию за руку и не сводя с нее блестящих запавших глаз.

Это был самый счастливый день в жизни Оливии. Несмотря на усталость, она уже не чувствовала прежнего одуряющего изнеможения. Теперь она полностью сознавала, что жизнь любимого спасена. Она ликовала не только оттого, что его больше не мучил телесный недуг. Душа его была покойна — вот что радовало Оливию ничуть не меньше его физического состояния. Но самой большой радостью была внутренняя перемена, свершившаяся в ней самой. Пока жизни Владимира грозила опасность, Оливия была так занята, а когда опасность миновала — так измучена, что могла думать только о самых насущных заботах. Но теперь ею овладело такое чувство, словно она пробудилась в яркий, солнечный день и все мучившие ее ночью кошмары исчезли. Оливию никогда ничто не страшило — кроме неизвестности. У нее было довольно мужества, чтобы найти выход из любого затруднения, но она не выносила нерешенных вопросов. Жизненный путь Оливии мог быть крут и каменист — она шла по нему легко и уверенно, если только знала, куда он ведет. Но смотреть в

лицо неизвестности и не знать, что впереди, — было свыше ее сил. Жизнь бок о бок с Владимиром — так близко и в то же время так далеко от него, — бесплодные попытки понять его внутренний мир и смотреть на окружающее его глазами отравляли ее молодость. Но теперь, когда она едва не потеряла своего возлюбленного совсем, все сомнения Оливии сразу развеялись: она будет терпеливо ждать того времени, когда сможет все понять, а пока она счастлива и тем, что Владимир спасен и снова с ней.

Спустя два дня Владимир уже настолько окреп, что Карол, войдя в кухню, где Оливия готовила заварной крем, сказал ей со смешком в усталых глазах:

— Сомнений нет: Володя поправляется. Он только что обругал меня, когда я хотел измерить ему температуру.

Оливия, улыбаясь, подняла голову.

— Это самый верный признак исцеления. Отец говорит, что, когда я была еще ребенком, он уже знал, что я стану медицинской сестрой. И вот почему: после того как наша Дженни чуть не умерла от крупа, я встретила его на дороге к дому, радостно размахивая шляпой и крича во все горло: «Папа! Папа! Дженни поправляется! Она уже мне нагрубила!»

Оливия засмеялась и тут же вздохнула.

— Бедный папа! — промолвила она чуть слышно.

— Ваши родители были, наверно, очень добры к вам, когда вы были ребенком? — спросил Карол, глядя на огонь.

Оливия с удивлением посмотрела на него.

— Добры? Отец и мать? Да ради меня они дали бы растерзать себя на куски.

С минуту она молча смотрела на него, потом мягко спросила:

— А ваши родители... разве не были добры к вам?

— Они сделали для меня все, что могли, — оставили мне воспоминания. Моего отца расстреляли, когда я был еще совсем крохотным, а мать умерла в тюрьме. Я смутно припоминаю, как до нас дошла весть о ее смерти. Помню лишь, что дед заставил меня преклонить колени перед распятием и поклясться...

Но вместо того чтобы рассказать, в чем именно заставил его поклясться дед, Карол лениво протянул:

— Это, должно быть, хорошо — иметь родителей: если только они приличные люди.

И ушел к больному.

Когда Оливия принесла крем в комнату, любимец Владимира — Костя, сынишка дворника, — сидел на краю кровати и, захлебываясь от восторга,

что-то весело лепетал. Все эти три недели он капризничал потому, что его не пускали к другу, которого он называл, несмотря на запрет матери, «Володей», а не «Владимиром Ивановичем».

— Володя обещал подарить мне завтра к празднику лошадку. А вы ее, дядя доктор, купите, так сказал Володя. Правда, Володя? Черную лошадку с белыми ногами.

— Хорошо, хорошо, обязательно куплю. А теперь ступай домой, Володя устал

Оливия взяла мальчика на руки и понесла его к двери,

— До свидания, Костя, — проговорил Владимир, и детский голосок пропищал в ответ:

— До свиданья, Володя.

— Меня ждут дома неотложные дела, — сказал Карол, когда Оливия вернулась. — Я буду ночевать у себя, а завтра утром приду. И вы тоже ложитесь. Володя чувствует себя сейчас хорошо, надо только беречь его от простуды. Постарайтесь, чтобы в комнате было тепло: судя по барометру, ночью опять будет метель. Да, я хочу еще внести изменения в его диету. В полночь и в два часа...

— Оставь Оливию в покое, Карол, — с досадой прервал его Владимир. — Суетишься, словно старуха.

Слово «суетишься» по отношению к Каролу рассмешило Оливию. Она была сегодня так счастлива, что ее смешил любой пустяк.

— Смейся сколько тебе угодно, — заметил Владимир, — но не забывай, что от тебя остались кожа да кости. Положи на стол записи о диете и всю прочую чепуху да отправляйся спать. Выспись как следует. Если мне ночью что-нибудь понадобится, я справлюсь сам.

— И снова простудишься, и снова повторение всего, что было эти две недели. Нет уж, покорно благодарю, дорогой мой, хорошенького понемножку.

— Собственно, никакого повторения не будет, — вмешался Карол. — Если ты еще раз простудишься, то уже больше не выкарабкаешься. А поэтому лежи смиренно и не вылезай из теплой постели. До завтра,

К вечеру на улице резко похолодало и небо затянуло снежными тучами, мчавшимися с севера. Быстро приготовив все, что могло потребоваться больному ночью, Оливия улеглась на кушетке в гостиной и крепко заснула. Как всякая опытная сестра, Оливия могла проснуться в любое назначенное время. Проснувшись около полуночи, она прежде всего увидела снежные вихри, кружившие за окном. Началась метель. Когда в двенадцать часов она вошла к Владимиру, он не спал: глаза его были

широко раскрыты, у рта залегла горестная складка.

Выполнив предписания врача, Оливия хотела уйти, но Владимир схватил ее руку и крепко сжал:

— Оливия...

Она села подле него.

— Да, дорогой?

— Помнишь, что ты сказала мне в тот день, когда меня вызвали наши и я ушел?

— Помню.

— Ты была права. С моей стороны эгоистично удерживать тебя здесь. С самого начала я веду себя как самый заядлый эгоист. Я не имел права втягивать тебя в такую жизнь.

— Но ты меня и не втягивал. Я сама пошла.

— Пусть, если тебе угодно. Так или иначе — ты сейчас здесь и губишь свою молодость ради развалины, которой давно пора бы околоть, как крысе в вонючей норе...

— Дорогой мой, ты меня очень обяжешь, если не будешь в моем присутствии отзываться так оскорбительно о человеке, которого я люблю. И обяжешь меня еще больше, если не будешь разговаривать по ночам, когда у тебя жар.

Он резко оттолкнул ее руку:

— Ты дурачишь меня, словно ребенка! Думаешь, я не вижу, к чему сводится твоя любовь? К возвышенной жалости — вот к чему! Ты являешься ко мне, словно милосердный ангел, берешь меня за руки, чтобы я поскорее забыл, что эти руки могли бы...

Он замолчал, кусая губы. Оливия закрыла глаза, вспомнив, как в те страшные дни, когда он лежал в беспамятстве, пальцы его беспрестанно комкали одеяло, словно он что-то лепил.

— Володя, — серьезно заговорила Оливия, — я не хотела говорить с тобой об этом, пока ты не окрепнешь, но раз ты настаиваешь, я скажу сейчас. Со времени твоей болезни я все вижу в ином свете. Мне и сейчас еще многое непонятно, но тем не менее я счастлива и буду счастлива, даже не понимая всего до конца. Я не беспокоюсь о том, поженимся мы с тобой или нет. Это такая малость, а ведь важно другое, совсем другое. Понимаешь? Своими руками вырвала я тебя из лап смерти, и теперь ты мой, навсегда мой, ну как если бы ты был моим ребенком. Я хочу только одного: слышать, как ты дышишь, и знать, что тебе ничто не угрожает. Вот и все. А теперь спи. Что с тобой, дорогой? Опять болит? Он хрипло рассмеялся.

— А я и не знал, что ты умеешь облекать в такую красивую форму самые неприглядные вещи. Но ведь суть дела от этого не меняется: ты даешь, все время даешь, а я ничего тебе дать не могу. Даже Карол понимает это, хоть и молчит. Он сказал мне сегодня, что у тебя сильно развит «материнский инстинкт» и что я не должен заглушать его. Но Карол... всегда одолевает меня... в спорах. Оно и не удивительно... при таких здоровых легких.

И, нетерпеливо вздохнув, он отвернулся от Оливии. Она, откинувшись на спинку стула, неподвижно смотрела в окно. За замерзшим стеклом в непроглядной тьме кружились несметные полчища снежинок, подгоняемые беспощадным ветром. Сердце Оливии сжалось, когда она услышала неровное, тяжкое дыхание Владимира. Она посмотрела на больного: он лежал с закрытыми глазами; и при виде морщин, набегавших на лоб при каждом его вдохе, Оливия содрогнулась, словно колющая боль пронзала ее собственную грудь.

В дверь постучали.

— Телеграмма! — послышался мужской голос. — Срочная!

«Что-нибудь с отцом», — промелькнуло у Оливии. Она поспешно встала.

— Сейчас же откройте!

Пальцы Владимира, сжавшие руку Оливии, словно остановили биение ее сердца.

— Это не телеграмма, — сказал он.

Когда серый туман рассеялся, она повернулась к нему. Он тянулся к ней, раскрыв объятия, смеясь и торжествуя.

— Любимая моя, мы довольно поспорили, а ведь жизнь так коротка! Поцелуй меня и открой, — это смерть стучится в дверь.

— Телеграмма! — повторил тот же голос, но они не слышали. Оливия склонилась к Владимиру, и губы их слились в поцелуе. Потом она отворила дверь. Люди в голубых мундирах с шумом ворвались в комнату, и ей вдруг померещилось, будто что-то светлое и лучезарное разбилось и исчезло, рассыпалось в прах у ее ног.

Она неподвижно стояла возле кровати, равнодушно глядя на пристыженные лица, не слушая вежливых объяснений офицера:

— ...Серьезно болен... но исполнение служебного долга...

Слова его доносились откуда-то издалека, словно еле слышный шум ветра. Как это все однообразно и пошло, как обыденно и серо, словно свершается каждый день с тех самых пор, как сотворен мир... И разве она сама уже не испытала это много раз?

Теперь заговорил Владимир. В голосе его не было презрения, только безразличие. «До чего ему все надоело», — подумала Оливия и удивилась, что он все же закончил начатую фразу.

— Как вам угодно, господа. Таково уж ваше ремесло, ничего не поделаешь. Мне одеться?

Офицер опустил глаза. Он посмотрел в окно на снежные вихри, перевел взгляд на лицо Оливии и нерешительно обратился к своему помощнику. Тот стоял рядом — в темном, наглухо застегнутом пальто, подтянутый, тонкогубый, с бегающими глазками.

— Не совсем удобно получается, — сказал вполголоса офицер. — Такая морозная ночь.

— Да, — ответил тот мягким, мурлыкающим голосом, — двадцать четыре градуса мороза.

И с улыбкой повернулся к Владимиру.

— В этой комнате слишком жарко. Свежий воздух пойдет вам на пользу. У вас, кажется, легкие не в порядке? Очень неприятное заболевание, но теперь все врачи рекомендуют лечение свежим воздухом.

— К чему пустословить? — тем же тоном проговорил Владимир. — Ведь приговор все равно уже подписан.

— Смертный приговор? — спросила Оливия. Это были ее первые слова; голос звучал так ровно, как будто ей надо было просто что-то уточнить.

Светлые глазки младшего офицера задержались на Оливии. Озорные огоньки вспыхнули на секунду под слегка опущенными веками и тут же погасли.

— А вы кто такая будете? — спросил он.

— Оливия! — вскричал Владимир таким отчаянным, умоляющим голосом, что она в страхе кинулась к нему. Он схватил ее руку своей горячей рукой.

— Любимая, бесполезно... бесполезно сопротивляться! Пойми... я не могу видеть, как ты стоишь рядом с этой змеей, а у меня нет сил встать и придушить... Он же будет оскорблять тебя... смеяться над тобой. Это Мадейский.

Оливия в недоумении смотрела на Владимира. Карол рассказывал ей о поляке по фамилии Мадейский, который сделал недурную карьеру, поступив на службу к русским. Но она так плохо разбиралась в новой для нее обстановке, что не понимала, почему иметь дело с польским ренегатом гораздо хуже, чем с русским офицером.

Мадейский стоял теперь рядом с ней, приподняв брови и

вопросительно улыбаясь.

— Что вы сказали?..

Лицо Владимира стало непроницаемым.

— Я сказал, что мои ключи висят на гвозде возле печки. Эта девушка — мисс Лэтам, британская подданная и дипломированная медицинская сестра. По просьбе моего врача она исполняет обязанности сиделки. Не станемте задерживаться, господа.

Голос Владимира звучал все глуше и слабее. Оливия села рядом с кроватью и тоном, не допускающим возражений, сказала:

— Больному больше нельзя разговаривать. Мадейский метнул на нее пронзительный взгляд, потом поклонился, и, улыбнувшись, отошел прочь.

Обыск комнат занял два часа, и все это время Оливия не выпускала руку Владимира из своих рук. Когда он кашлял, она приподнимала его, прижимая голову любимого к своей груди. Оба молчали. Они не обращали внимания на посторонних и не нуждались в словах. Около них ходили люди, слышались голоса, в окно ударяли снежные хлопья, били часы; но они, сплетя руки, все так же молчали. Без нескольких минут два Оливия встала, зажгла спиртовку и поставила греть бульон. Она была, как всегда, пунктуальна. Мадейский подошел к ней.

— Что это у вас?

Оливия указала на лист, где были расписаны часы приема пищи.

Мадейский взял из ее рук чашку, в которую она налила бульон, опустил в бульон ложку, понюхал, лизнул ложку и вернул чашку Оливии.

— Ладно. Можете дать ему это.

Оливия отложила ложку, подошла с подносом к кровати и молча села. В глазах ее мелькнуло тревожное раздумье. Почему ей самой не пришла в голову такая простая мысль? Капля синильной кислоты... Как просто подлить в бульон... И Владимир был бы избавлен от стужи. Но в доме не было яду, такие вещи приходят в голову слишком поздно.

Около половины третьего обыск закончился. Ничего, конечно, не нашли. Зачитали протокол ареста с упоминанием имен и рода занятий всех присутствующих, и двое понятых — одетые в штатское агенты сыскной полиции — подписали его. Офицер взглянул на Мадейского и, несколько смутившись, приблизился к кровати.

— Сани у дверей. Дама может выйти в другую комнату, вам помогут одеться.

В лице Оливии ничто не дрогнуло. Владимир кончиками пальцев ласково погладил ее по руке.

— Ступай, единственная моя любовь. Это конец.

Но она вдруг гневно вспыхнула.

— Не двигайся! Ты больной, отданный на мое попечение, и не тронешься с места, пока я не разрешу.

Она неторопливо встала, заслонила дверь и посмотрела в упор на жандармов. Чуть понизив голос, она сказала официальным тоном:

— Надо послать за доктором, лечащим этого больного. В его отсутствие я отвечаю за жизнь Дамарова, и, пока не придет доктор, я не разрешу тронуть его с места.

Мадейский неслышно приблизился к Оливии, вглядываясь в нее узкими глазками. Он никогда еще не встречал таких женщин, и она заинтересовала его. Он подошел вплотную, потом отпрянул — в глазах Оливии мелькнула угроза. В комнате стало тихо, все, затаив дыхание, ждали.

Ни ножа, ни купороса, ничего, кроме пустых рук... На столе керосиновая лампа, но до нее трудно дотянуться, и она сама прикрутила фитиль... Ничего, кроме голых рук... Взгляд Оливии остановился на кадыке, едва заметно выступавшем под жестким, тугим воротником. На лице ее отразилось сомнение. Губы Мадейского растянулись в улыбке. Он повернулся к офицеру:

— Прошу прощения, но обыск не закончен. Мы забыли обыскать эту женщину.

Резкий, яростный вопль Владимира: «Она британская подданная! Это беззаконие!» — прозвенел в ее ушах, но не дошел до сознания. Даже когда Мадейский, тихонько посмеиваясь, отвернулся, она только безучастно повторила:

— Эту женщину.

Что-то злобное, черное, грозное стремительно налетело на нее. Или нет, не то. Она почувствовала на себе чужие мужские руки — и все это было наяву, и она не умерла. У того, кто взял ее за локоть, на сгибе волосатого пальца был шрам.

Потом она увидела, как с постели с отчаянным воплем поднялось привидение, и за ним, словно саван, волочилась белая простыня. Вдруг все куда-то отодвинулось, и она склонилась над распростертым, бесчувственным телом Владимира.

— Он умер! — вскричала она.

В завязавшейся борьбе его сбили с ног.

Оливию, конечно, не обыскивали. Это была шутка Мадейского, и о ней больше не вспоминали. Владимир пришел наконец в сознание и, тяжело

вздыхнув, огляделся. Оливия стояла перед ним на коленях, обнимая его за шею. Он пытался что-то сказать, и, наклонившись, она приблизила ухо к его губам.

— Пусть... возьмут... скорее бы конец.

Она встала и молча отошла в сторону. Теперь она могла сделать для него только одно — дать ему умереть как можно скорее.

Одевание длилось очень долго. Владимир то и дело останавливался, чтобы передохнуть, и дважды терял сознание. Когда он оделся, его почти вынесли туда, где в адском вихре кружилась снежная пыль, поблескивая в свете уличных фонарей. У подъезда стояли едва различимые во мраке сани. Лошади совсем заиндевели. Пар от их дыхания клубился серым облаком. При первом же порыве ветра Владимир пошатнулся и, чтобы не упасть, ухватился голой рукой за железную скобу саней, но, обожженный ледяным прикосновением, тут же отдернул руку. Один из жандармов, забыв о своих обязанностях и присутствии начальства, бросился поддержать его.

— Как же это я не помог вам! — Слезы блеснули в глазах конвоира.

Владимир с удивлением взглянул на него.

— Ничего, мне не больно.

Его усадили в сани. По бокам сели конвойные. Владимир оглянулся. Рядом стоял офицер, отдавая распоряжения жандармам, а те, нахмутив лица и опустив глаза, молча слушали. На пороге стояла жена дворника, громко плача и крестясь. Перепуганный, поднятый с кровати Костя, наспех одетый в чью-то шубу, цеплялся за подол матери и отчаянно всхлипывал. Оливии около них не было. Она стояла возле саней, ресницы ее заиндевели, над непокрытой головой кружились снежинки. На лице ничего нельзя было прочесть, как на грифельной доске, с которой все начисто стерли.

— Анна Ивановна, — окликнул Владимир жену дворника, — заберите Костю, он простудится.

Услышав свое имя, ребенок вырвался из рук матери, залез в сани и, рыдая, припал к Владимиру.

— Володя! Володя! Почему тебя увозят?

— Костя! — закричала мать. — Сейчас же иди назад! Иди назад, негодник!

— Почему? — продолжал всхлипывать тоненький голосок. — Почему ты уезжаешь? Смотри, как холодно!

Мадейский шагнул вперед.

— Уберите ребенка, — приказал он жандармам.

Мальчик оглянулся и, увидя около себя хитрое лицо с узкими глазками и растянутым в улыбке ртом, еще крепче прижался к Владимиру.

— Это плохой человек, Володя! Он запрячет тебя в ледяную яму! — обезумев от страха, кричал мальчик.

Сжатые губы Владимира вдруг дрогнули. Он закрыл лицо рукой.

— А ну, чертенок, убирайся отсюда! — закричал взбешенный офицер. Мадейскому он шепнул: — Послушайте, еще немного, и наши люди выйдут из повиновения.

Владимир наклонился и поцеловал детскую головку.

— Тише, непоседа, тише! Мне недолго придется мерзнуть. Ты же знаешь — завтра праздник и нужно убрать из дома всякие обломки... Ступай спать, когда подрастешь — все узнаешь.

Костя перестал плакать и, широко раскрыв испуганные глаза, внимательно слушал. Успокоившись, мальчик протянул к матери пухлые ручки, и она унесла его в дом. Недоуменное детское личико с застывшими на пухлых щечках слезинками было обращено к непонятному ночному миру, в котором плачут взрослые люди.

Лицо Оливии оставалось непроницаемым. Только раз промелькнуло на нем слабое удивление: зачем пришли сюда эти чужие люди и о чем они горюют?

Владимир протягивал ей руку.

— Прощай, любимая.

Она ответила как во сне:

— Будь спокоен, я все запомню.

— В чем дело? — спросил Мадейский, приблизив к ним улыбающееся лицо Оливия посмотрела на него непонимающим взглядом. До сознания ее доходил лишь голос Владимира. И когда полозья саней заскрипели по снегу, Мадейскому ответил Владимир:

— Ничего особенного. Просто вспомнили, что завтра праздник. Будет и на нашей улице праздник.

— Все в свое время, — снисходительно ухмыльнувшись, проговорил Мадейский. — Во всяком случае, пусть ваша дама не сомневается: вас-то уж во всяком случае ждет праздник.

Никто не ответил. До ушей Оливии, заглушая стук копыт, донесся душераздирающий кашель Владимира.



Около девяти утра, когда все еще дул пронизывающий ветер, пришел Карол. Один из друзей, имевший знакомства в полицейском управлении, навестил его накануне вечером и сообщил, что там рассматривалось дело Владимира. На ближайшие дни намечен обыск, а может быть, и что-нибудь похуже.

— Но сегодня ничего не случится, — добавил он, и Карол решил, что лучше всего пойти к Владимиру утром. Опасность возникнет лишь в том

случае, думал Карол, если кто-либо из друзей Владимира допустит оплошность, да и тогда самое большее, что может произойти, — это обыск на квартире. Но и это не страшно — Владимир всегда тщательно уничтожает все опасные бумаги. Однако чем скорее предупредить его, тем лучше.

Когда Карол входил во двор, дворник, скальывавший лед с тротуара, поднял голову и грубо спросил:

— Вы куда?

Раньше дворник никогда не окликал его, и Карол сразу насторожился. Следы саней на дворе уже замело выпавшим снегом, но на крыльце дома еще виднелись многочисленные отпечатки ног. Когда он шел по двору, в окне первого этажа приподнялась занавеска. Мелькнуло чье-то испуганное лицо и тут же исчезло. На лестничной площадке лежал какой-то белый комочек. Это был мужской носовой платок, и, еще до того как Карол поднял его, он узнал платок Владимира по алевшему на нем кровавому пятну. Все же Карол поднял платок, расправил его и увидел вышитые в уголке инициалы. Удар был так неожидан, что потрясенный Карол, как в детстве, перекрестился и пробормотал: «Иезус-Мария!»

Затем он отступил в темный угол подъезда и несколько минут обдумывал положение. Способность хладнокровно мыслить и быстро все учитывать вошла у него в привычку и не изменяла ему в самые критические минуты.

Идти сейчас наверх было не только бесполезно, но и опасно. В комнатах, наверное, остались полицейские, и, так как за ним уже давно следят, его несомненно арестуют. Поскольку к данному делу он не имеет никакого отношения, его, конечно, через несколько недель выпустят, но он будет лишен возможности помочь Оливии. Прежде всего надо узнать, где она. Выходя со двора, он заметил, что занавеска в том же окне приподнялась снова. На этот раз его поманила чья-то рука, и жена дворника с покрасневшими от слез глазами открыла ему дверь черного хода.

— Доктор, зайдите, пожалуйста, на минутку. Вы знаете, что тут у нас случилось?

— Знаю.

— Они наверху. Мне разрешили увести барышню к нам. Просто ума не приложу, что с ней делать. Она совсем не шевелится, словно истукан какой.

Оливия сидела в душевой, темной комнатушке — каменное изваяние с широко раскрытыми глазами. Карол заговорил с ней по-английски, ласково окликнул ее несколько раз по имени. Оливия молчала. Чуть дрогнули

ресницы, но лицо тут же снова застыло.

— Очнитесь! — проговорил он, трясая ее за плечо. — Очнитесь же! Вас ждет работа.

## ГЛАВА IX

— Я подожду вас здесь, — сказал Карол, останавливаясь на мосту через канал. — Видите вон ту дверь, где стоит часовой? Вам туда.

Оливия подняла глаза. Все случилось лишь несколько часов назад, и с ее лица еще не исчезло беспомощное, растерянное выражение.

— А вы не пойдете со мной? Неужели я должна идти одна?

Она задрожала, и рука ее спутника, засунутая в карман мехового пальто, сжалась в кулак. Он и сам дорого дал бы, чтобы не пускать ее туда одну: он слишком хорошо знал, что ждет ее там.

— Вам лучше пойти одной, — мягко сказал он. — Мое присутствие может лишить вас последней надежды на успех. Видите ли, меня там знают.

— Разве у меня есть надежда на успех?

— Ваше преимущество в том, что вы иностранка. Вряд ли вам разрешат с ним увидеться, но, может быть, позволят передать записку. Постарайтесь попасть к самому директору департамента, ни к кому другому не обращайтесь. И не забудьте, о чем я вас предупреждал.

Оливия ответила, как ребенок, повторяющий урок:

— Не забуду. Если кто-нибудь оскорбит меня — не обращать внимания.

Карол остался на мосту, а она направилась по набережной к зданию, над распахнутой дверью которого значилось: «Департамент государственной полиции».

— Нельзя ли мне поговорить с его превосходительством господином директором департамента?

После того как она назвала свою фамилию и род занятий, ее провели в длинный, широкий коридор со скамьями вдоль стен.

— Подождите здесь. Когда подойдет ваша очередь, вас вызовут в приемную.

Она ждала больше часа. Многочисленные переходы вели из коридора в другие части здания, несколько дверей выходило и прямо в коридор. Мимо Оливии непрерывно сновали одетые в мундиры люди. Одни куда-то спешили, шурша на ходу пачками бумаг и хлопая дверьми, другие

слонялись без дела и подолгу болтали друг с другом. Просители, образовав длинную очередь, сидели на скамьях и ждали, когда их вызовут. Некоторые о чем-то шептались, несколько человек оживленно разговаривали, остальные молчали. Рядом с Оливией сидела бедно одетая женщина, к ней приник ребенок. По щекам ее время от времени скатывались слезы, и она вытирала лицо рукавом потертого черного жакета. Каждые несколько минут в дальнем конце коридора открывалась дверь приемной, из нее выходил проситель, и чиновник вызывал следующего. Большинство входивших явно нервничали, лица их выражали робость, испуг или тревогу, но были и такие, которые следовали за чиновником с тупым безразличием.

Ближайшая к Оливии дверь отворилась, и кто-то крикнул по-французски:

— Алексей, пойдем покурим. Я до смерти устал.

В коридор вышли два молодых жандармских офицера. У того, кого звали Алексеем, были расплывшиеся, грубые черты лица, не гармонизировавшие с щеголеватым серебристо-голубым мундиром. Другой принадлежал к тому типу офицеров, которые быстро выдвигаются благодаря покровительству придворных дам. Это был высокий и стройный поляк; красивое лицо его уже несколько обрюзгло, темные шелковистые кудри заметно поредели. Оба явно рисовались, и когда они, благоухая гелиотропом и перебрасываясь замечаниями, неторопливо прогуливались по коридору, под мундирами обоих проступали контуры корсетов.

— Уж эта твоя Маша! — сказал красавец, зажигая папиросу и бросая спичку под ноги ближайшему просителю, — для тебя что ни жирная торговка — то прелестница.

Закурив, они прошли дальше. Маленький сморщенный старичок в мундире с пышными эполетами вышел из кабинета и засеменил по коридору. Вскоре оба офицера повернули назад. Красавец остановился перед Оливией.

— А девочка недурна, жаль только, одеваться не умеет. Посадка головы не то, что у ваших раскормленных московских барынь. Генерал, взгляните, какие роскошные волосы у этой девицы.

Старичок заковылял к ним и, держа в высохшей, унизированной кольцами руке сигару, заглянул под шляпу Оливии. Дым от сигары взвился голубым облачком и обволок ее лицо. Оливия не шелохнулась, лишь крепче стиснула сложенные на коленях руки.

— Побольше бы рыжеватого тона, — сказал генерал, — и жаль, что глаза не карие. Эти сероглазые женщины холодны, как рыбы. Темперамента

ни на грош.

Интересная тема была подхвачена собеседниками и подверглась подробному обсуждению со множеством сопутствующих анекдотов. К счастью, Оливия была плохо знакома с русско-французским жаргоном, на котором изъяснялись чиновники, и поэтому многого не поняла. Вскоре все трое двинулись дальше и оставили ее в покое.

— Вас вызывают, — сказала Оливии женщина в черном жакете, подняв на нее тусклые глаза, — не прозевайте очереди.

Оливия встала и только теперь почувствовала, что совсем окоченела. Она разжала озябшие пальцы и потеряла их носовым платком. Просто удивительно, как могут болеть руки от холода. Потом она пошла за чиновником в приемную.

— Оливия Лэтам, британская подданная. Просит сведений о политическом заключенном Владимире Ивановиче Дамарове...

Его превосходительство поднял руку, и монотонный голос замолк.

— Какое отношение вы имеете к заключенному?

— Я его невеста, ваше превосходительство.

— Чего вы хотите?

— Узнать, где он сейчас, и увидеться с ним, если это возможно.

— Первое время заключенным не разрешаются свидания. Через месяц...

— Он умирает, ваше превосходительство.

Директор департамента повернулся к секретарю:

— Есть ли особые сведения о заключенном?

Секретарь передал ему какую-то бумагу. Пробежав ее глазами, директор сказал, не поднимая взгляда:

— Приходите завтра. Она шагнула вперед.

— Ваше превосходительство, он может не дожить до завтра. Если нельзя увидеться с ним, разрешите хотя бы написать ему! Всего одну строчку...

— Приходите завтра, — повторил директор. — Следующего, — бросил он через плечо чиновнику.

Багровые круги поплыли перед глазами Оливии.

— Умоляю вас, разрешите передать письмо... Скажите хотя бы, где он... Ваше превосходительство... поймите... ведь он умирает...

Кто-то дотронулся до ее плеча.

— Его превосходительство занят.

Оливия снова очутилась в коридоре, и дверь приемной захлопнулась.

Она вышла на улицу. Часовой равнодушно посмотрел ей вслед: многие

выходят отсюда с такими лицами. Когда Оливия ровной, как всегда, поступью шла по набережной, праздничная толпа молчаливо расступалась, давая ей дорогу. На мосту к ней подошел Карол и взял ее руку в свою. Оливия молчала, потупив голову.

Спустя немного она подняла взор и взглянула на него. Очевидно, у нее было такое состояние, что никакое человеческое сочувствие не могло ей помочь, но в спокойных глазах Карола было что-то большее, чем простое сочувствие, и жесткие складки у ее рта разгладились. Она обвела глазами набережную, канал, встречных прохожих и снова взглянула на Карола.

— Мне не удалось ничего добиться

— Я знаю, — с нежностью сказал он, — так оно обычно и бывает.

Они опять помолчали.

— Впрочем, — заговорила она, — вряд ли это имеет значение.

В лице ее не было признаков жизни, осталась лишь бездушная маска.

— Он протянет еще два-три дня, не больше?

— Не больше.

Они шли все вперед, минуя улицу за улицей. Вокруг них царило праздничное оживление. Веселая, разодетая толпа беспечно шумела, плясала, люди перекидывались шутками и обменивались поцелуями.

— Хорошо хоть, что уже вначале знаешь самое худшее, — сказал Карол, когда они свернули на более тихую улицу, — у нас говорят, что без терпенья — нет спасенья. Это значит, что если вы приспособитесь к такого рода вещам, то сможете и вынести их. Главное — приспособиться.

Оливия неожиданно засмеялась. Она сама испугалась своего смеха — так резко и неприятно он прозвучал.

— А вы когда-нибудь пробовали... например, поставить себя на место женщины?

— У меня была сестра, — тихо произнес он, — а это, может быть, несколько не легче.

Никогда до сих пор не упоминал он при ней о своей сестре. В памяти ее, как страшный призрак, вдруг ожил рассказ Владимира. Кто дал ей право разыгрывать трагедию из-за того, что ее жизнь разбита? Разве таких, как она, мало? «Нас много, — подумала она, — нас очень много».

Рука ее, лежавшая на руке Карола, дрогнула.

— Я забыла... Как жестоко с моей стороны напоминать вам.

Он взял ее руку и сжал своими сильными пальцами.

— Ничего. Я и так не забываю. И вы не забудете, но постепенно, подобно всем нам, приспособитесь как к большим, так и малым бедам. Возьмите, например, грязь. Когда свежий человек попадает впервые в

провинциальную тюрьму и видит, что стены черны от тараканов и клопов, а на нарах кишат вши, — он почти теряет рассудок, а потом ничего — приспосабливается. Точно так же и с этими скотами из полицейского управления. Вы скоро перестанете их замечать.

Оливия остановилась. Карол обладал способностью разгадывать чужие мысли и секреты, но как он догадался об этой мелкой ранке? У нее перехватило дыхание; она скорее умерла бы, чем рассказала кому-нибудь об этом, а он догадался сам, она ведь ни слова не вымолвила!

— Карол, — она еще никогда не называла его по имени. — Карол, как вы узнали...

— Дорогая моя, не вы первая. Почти каждой нашей женщине приходится пройти через это, если она молода и привлекательна. Уверяю вас, мужчине, который ее любит и знает, что бессилён помочь ей, вряд ли легче. Вы должны твердо усвоить одно — эти примитивные твари лишены разума и действуют сообразно своей скотской натуре.

Оливия опустила голову, пристыженная терпением и мудростью этого человека.

— Карол, — робко спросила она, — а сколько вам понадобилось времени, чтобы приспособиться?

— Право, не так уж и много, дорогая. Через два-три года вы себя просто не узнаете.

— Два... или три года... — Голос Оливии упал, и пальцы Карола крепче сжали ее руку.

— А теперь, — сказал он после минутного молчания, — попытаем счастья в Главном управлении жандармского корпуса. Но необходимо, чтобы нервы ваши были в порядке.

— Подождите немножко. Я соберусь с мыслями.

Он молча шел рядом с ней. Наконец она подняла голову.

— Я готова.

— Ну-ка вытяните руку. Не дрожит. Значит, готовы.

Он долго ждал ее у Главного управления жандармского корпуса. Когда она вышла, лицо ее было по-детски растерянно и опечалено.

— Мне сказали, чтобы я пришла через час. На этот раз я сама во всем виновата. Что-то спутала. Я поняла, что мне надо ждать в коридоре, а оказывается, нужно было пройти в какую-то комнату. И я пропустила свою очередь.

— О боже! — вырвалось у Карола. Оливия в страхе посмотрела на него.

— Значит я... действительно... все испортила?

— Нет, совсем не то. Но похоже, что они намерены погонять вас... — Он запнулся. — Лучше вам сразу узнать правду. Это у них такой трюк, понимаете? Они его иногда проделывают с теми, кто совершенно незащищен. Может быть, мы вчера оскорбили кого-нибудь из них? А может, это просто потому, что вы иностранка и, кроме нас, у вас здесь нет друзей.

— Я ничего не понимаю, — испуганно прошептала Оливия.

Но она поняла еще до наступления вечера. Игра продолжалась без передышки с утра до самых сумерек. Ее посылали то вперед, то назад; то вверх по лестнице, то вниз; из комнаты в комнату, из коридора в коридор, бесконечный лабиринт коридоров. Из Главного управления жандармского корпуса ее отправили назад в Департамент государственной полиции, оттуда — в Главное тюремное управление, потом снова в жандармское управление. То ей говорили, что она пришла слишком рано; то оказывалось, что она уже опоздала; она заходила в комнату номер три, а ей следовало попасть в комнату номер четыре; она шла в комнату номер четыре, где узнавала, что должна ждать в комнате номер три. Некоторые чиновники с притворно-серьезным видом объясняли ей что-то; другие куда-то спешили, грубо толкая ее на ходу, или бросали отрывистые ответы и поворачивались спиной. Были и такие, которые открыто смеялись над ней или, наоборот, что-то смущенно бормотали, пряча пристыженные лица. Когда вся эта комедия закончилась наконец словами: «Сегодня уже поздно. Приходите завтра к десяти утра», — она направилась, шатаясь, к перекрестку, где ее ждал Карол, и в полном изнеможении ухватилась за его руку.

Он отвел ее домой, накормил и заставил лечь спать. Потом ушел, пообещав прийти утром, а сам отправился разузнать о Владимире. Он возлагал некоторые надежды на свои связи. На предложение Карола прислать ей на ночь какую-нибудь женщину из числа своих друзей Оливия ответила отказом.

— Я хочу побыть одна, — сказала она, — отворачиваясь к стене.

Придя к ней утром, Карол с первого взгляда понял, что за ночь она провела. В глазах ее появилось затравленное выражение, которого он так опасался. Карол сказал:

— Я немногого добился, но мне удалось узнать, где он. Его увезли в крепость.

— В ту тюрьму, что над рекой? Ох! — Оливия содрогнулась и закрыла рукой глаза.

— Не все ли равно, дорогая? Какие бы ни были там условия, он все

равно ничего не почувствует.

— Вы в этом уверены?

— Если он даже жив, то, конечно, без сознания. Оливия засмеялась.

— Вы, кажется, забыли, что я медицинская сестра и меня не успокоишь врачами. Он может прожить еще неделю и все время быть в сознании.

— Но не там, — тихо произнес Карол.

Вечером он опять проводил ее домой. На этот раз она хранила мертвое молчание. Карол уже подметил в ней первые признаки душевной депрессии: дрожание рук, тусклый взгляд запавших глаз. А ведь прошло всего два дня. Он сидел подле нее в санях, стиснув зубы; он знал, что эта веселая игра в «погонялки» продлится неделю, а то и больше. Что касается Оливии, то до конца ее дней ад будет представляться ей в виде лабиринта коридоров с выбеленными стенами, лживых отговорок и улыбающихся лиц.

— Завтра утром, — вежливо сказал ей чиновник, когда она уходила, вперив в пространство широко раскрытые, невидящие глаза.

Карол расстался с ней у дома, где она жила.

— Ложитесь спать. Может быть, сегодня вечером я кое-что разузнаю. Я зайду к вам попозже.

Много часов потратил Карол, стараясь что-нибудь разузнать, но тщетно. Поднимаясь ночью к Оливии, этот большой и сильный человек остановился на полдороге и привалился к перилам, не в силах превозмочь усталость и ломящую боль во всем теле. Он был так утомлен, что на какой-то миг ему изменило обычное мужество: как сказать ей, что нет ничего нового? Но надо решиться, она ведь будет ждать его всю ночь и не приляжет. Поднимаясь по лестнице, он несколько раз споткнулся о ступеньки и, добравшись до верхней площадки, снова остановился, чтобы унять дрожь.

— Барышни нету дома, — сказала ему заспанная служанка, — они как утром ушли с вами, так и не приходили.

Карол спустился с лестницы и остановился в подъезде. «Уж не арестовали ли ее, когда она поднималась к себе, — размышлял он. — Нет, это, конечно, чепуха. Может быть, она бродит по улицам? Если так, то рано или поздно она непременно пойдет к крепости». Его охватил такой страх, что ладони стали вдруг влажными. Она может забрести в парк возле крепости, — пустынное место, куда с наступлением темноты стекается всякий сброд... Беззащитной женщине там всегда грозит опасность, а тем более теперь, когда народ гуляет... Карол остановил первого попавшегося

извозчика и помчался через мост. Он обыскал все аллеи в парке и обшарил все закоулки возле крепости. Где-то рядом колокола на башне выводили свое нескончаемое «Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!» Не найдя Оливии в парке, Карол поехал назад и стал искать ее на набережной возле дворца, прямо напротив крепости. На открытой набережной дул пронизывающий ветер и, взвихривая снежную пыль, швырял ее Каролу в лицо. Внизу между одетыми в гранит берегами неподвижно лежала скованная льдом река. Купол неба над ней был совсем черным.

Карол нашел Оливию в нише парапета. Она забилась туда, спасаясь от ветра, и смотрела поверх ледяной глади реки. С противоположной стороны на нее глядели в упор два неподвижных светящихся глаза: это были огни у входа в крепость, известные под названием «волчьи глаза».

Карол велел извозчику подождать в сторонке. Услышав звук его шагов, девушка забилась еще глубже в нишу, и он понял, что кто-то уже пытался нарушить ее уединение.

— Оливия, едемте домой.

Она вскрикнула, услышав его голос, и в паническом ужасе, задыхаясь, бросилась к нему.

— Карол! Карол! О Карол!

— Едемте домой, — повторил он, поддерживая ее. — Бедное дитя! Едемте.

Но Оливия снова забилась в нишу.

— Нет, нет! Не могу! Не могу!

Она совсем ооченела и едва шевелила языком, так что Карол с трудом разбирал слова.

— Я пробовала, много раз пробовала, но эта лестница... такая темная... не могу войти... Карол, там призраки! Призраки!

«Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!» — отчаянно трезвонили колокола в крепости. Потом, вслед за ударом какого-то надтреснутого колокола, все перешли на гимн «Сколь славен наш господь в Сионе!»

Карол подозвал извозчика.

— Вы поедете ко мне. Там нет призраков. Садитесь. Она покорно повиновалась, не отводя взгляда от «волчьих глаз». В ушах ее все еще звучал оглушительный перезвон колоколов: «Сколь славен наш господь в Сионе!».

Оливия была в полузабытьи, и почти весь путь голова ее покоилась на плече Карола. Приехав домой, он разбудил хозяйку, велел разогреть ужин и

приготовить чай. Потом снял с Оливии пальто, уложил в постель и растер ей ступни и ладони. Вскоре ее оцепенение перешло в сон. Карол остался сидеть возле кровати, слишком усталый, чтобы двинуться с места.

Вдруг она с диким криком вскочила и закрыла глаза руками:

— Снег! Всюду снег!

Он крепко прижал ее к себе, стараясь успокоить.

— Карол! Карол! Он звал меня. Я слышала, как он звал меня. Они душат его снегом!

— Успокойтесь! Успокойтесь! Лягте. Поймите: он ничего сейчас не чувствует.

Но успокоить ее было невозможно. Она металась по комнате, словно зверь в клетке. Потом стала смеяться.

— Они сказали мне сегодня, что против него нет серьезных обвинений, что его, может быть, скоро выпустят. Скоро...

— Сядьте, — прервал ее Карол. Он подошел к шкафу и открыл дверцу.

Оливия села.

— А вы не уйдете? — испуганно прошептала она.

— Конечно, нет. Я же обещал, что не оставляю вас одну.

Он достал из шкафа шприц, подошел к Оливии и сделал ей укол морфия в правую руку. Когда голова ее склонилась на стол, Карол поднял девушку на руки и уложил в постель. Потом сел рядом и стал смотреть на нее. Она спала. Как ни страшна эта ночь, но до конца дней своих он будет вспоминать о ней, как о самом дорогом и сокровенном. Для нее эта ночь станет кошмарным воспоминанием, для него — минутами личного счастья, закончившимся с наступлением утра. Все же, если бы не он, она угодила бы сегодня в сумасшедший дом или в больницу. Что до всего прочего — у него ведь есть его дело. Оно-то всегда с ним, и он будет служить ему, пока хватит сил.

Оконные рамы слегка задрожали. Издалека донесся нестройный перезвон колоколов: «Господи помилуй! Господи помилуй!»

Голова Карола склонилась на неподвижную руку Оливии, плечи его чуть вздрагивали.

Утром, когда Оливия проснулась, Карол варил кофе. Она с недоумением посмотрела на него, потом все вспомнила и вскочила, но тут же снова упала навзничь, сжав руками виски.

— Не торопитесь, еще рано, — с улыбкой кивнул ей Карол. — После чашки кофе голова перестанет болеть.

Оливия медленно, с трудом выпрямилась.

— Вы не спали из-за меня всю ночь! Не надо было привозить меня

сюда. Вы, наверно, не сомкнули глаз.

— Я? Ошибаетесь. Спал как убитый вот в этом кресле. Хотите вставать? Вот чистое полотенце, а тут теплая вода. Я выйду покурить.

Когда Оливия умылась и позвала Карола, он вошел в комнату с какой-то бумагой в руках. Прочитав ее, он нахмурился.

— Если дать вашему отцу телеграмму, он сможет приехать за вами? — спросил он после долгого молчания, помешивая ложечкой кофе.

— Моему отцу? Я ни за что на свете не соглашусь вызвать его сюда.

— Может быть, вызвать кого-нибудь другого? Я не могу оставить вас здесь одну, а мне надо завтра уехать.

Руки Оливии упали.

— Вы уезжаете?

— У меня нет другого выхода: я должен ехать, иначе меня арестуют. Истек срок моего разрешения. Я просил в полицейском управлении продлить его. И получил отказ. Вот он. Мне приказано выехать завтра утренним поездом.

Оливия поднялась и стала одеваться.

— Нам пора идти. А что до вашего отъезда, то, конечно, уезжайте, раз это необходимо. Я останусь одна. Мне никого не нужно.

— Обсудим это после. Между прочим, ваш паспорт готов, вы можете получить его в любое время. Требуется только ваша подпись.

— Мне ведь уже переменяли паспорт, когда я приехала сюда.

— Да, но он годен только на время вашего пребывания здесь. Вы не можете выехать за границу, не получив назад английского паспорта и не имея на руках разрешения властей. Позавчера я подал заявление от вашего имени.

— Но я не могу ехать. Я не уеду, пока...

Голос ее задрожал и пресекся.

— Я знаю. Но чтобы вам не пришлось долго ждать разрешения, когда вы захотите уехать, я оформил все заранее через знакомых. Если на этой неделе паспорт вам не потребуется, достаточно лишь написать новое заявление. Вот деньги на дорогу. Тут есть немного английских, их вполне хватит на путевые расходы. Если после моего отъезда вы и сами захотите вскоре уехать, то, возможно, не успеете сходить за деньгами в банк.

— Карол, вы всегда за всех обо всем думаете?

Подняв глаза, она увидела, как губы у него дрогнули, но тут же приняли обычное решительное выражение.

— Не за всех, — сказал он, берясь за шляпу.

Его превосходительство занят, объяснили Оливии, когда она

попросила пропустить ее к директору департамента полиции. Но с ней может поговорить секретарь, к которому она вчера обращалась. Когда Оливия вошла в комнату, секретарь встретил ее с улыбкой, и она сразу похолодела. Вчерашний разговор с ним оставил гадкое впечатление, но ей еще не приходилось видеть его улыбающимся.

— Вы пришли, если не ошибаюсь, насчет...

— Владимира Дамарова.

— Ах, да, разумеется. Он ведь не родственник вам, правда? Если память мне не изменяет, вы с ним помолвлены?

— Да.

Чиновник с состраданием покачал головой.

— Ах вы бедняжка! Неужели такая красивая девушка не могла найти себе жениха получше?

Карол был, оказывается, прав, — можно и в самом деле приспособиться. Она пропустила эти слова мимо ушей,

— Должен сказать, он совсем не думает о вас, — продолжал чиновник.

— Я его вчера видел, он вами нисколько не интересовался.

Оливия молчала, не спуская с него глаз. Он откинулся в кресле и с видимым удовольствием неторопливо поглаживал усики.

— Уверяю вас, совсем не интересовался. Вам лучше подыскать себе другого возлюбленного. До свидания.

В коридоре разговаривали два офицера в голубых с серебряными галунами мундирах. Когда Оливия проходила мимо, один из них посмотрел ей вслед, потом нагнал ее.

— Это вы спрашивали о Дамарове?

— Да.

— И эти... — он кивнул в сторону двери, за которой сидел секретарь, — наплели вам, наверное, невесть что?

Оливия молчала. Он понизил голос:

— Они дурачат вас. Он вчера умер. Примите... мое искреннее соболезнование.

И вернулся к своему собеседнику.

— Возможно, что это и правда, — сказала Оливия Каролу, когда он помогал ей снять пальто. — Но как могу я быть уверена?

До тех пор, по дороге к ее дому, они молчали. В комнате он снял с нее боты и только потом спросил:

— Как выглядит тот офицер, что заговорил с вами в коридоре?

— Я не очень внимательно его разглядела. Высокий, с рыжеватыми, седеющими усами.

— С крючковатым носом, в мундире полковника?

— Кажется, да.

— Это Петров. Он человек порядочный. Самый порядочный из них. Значит, это правда.

— Может быть, правда. А может быть, шутка. Там ведь любят шутить.

Он никак не мог поколебать ее безнадежного, упрямого недоверия. На все его доводы она снова и снова повторяла:

— Откуда я знаю, что это не одна из их шуток?

— Вы поверите, если я раздобуду доказательства?

— Доказательства? Какие же?

— Я не уверен, что смогу это сделать, у меня слишком мало времени. Но если бы мне удалось найти человека — не из этих, конечно, а честного человека, который своими глазами видел его мертвым...

Оливия, стиснув пальцы, шептала про себя: — Если бы я только знала, что он действительно умер... если бы я только знала...

— Я попытаюсь, — сказал Карол. — Ждите меня здесь, я могу задержаться.

Вернувшись в полдень к Оливии, он застал ее на том же месте, где оставил. Она смотрела на свои тонкие руки, лежавшие на коленях. Когда вошел Карол, она подняла глаза и тут же снова опустила их.

— Одевайтесь как можно теплее и едьте со мной.

Она повиновалась, ни о чем не спрашивая. Они долго ехали в грязной конке, набитой празднично разодетым рабочим людом, и сошли на фабричной окраине возле реки. Там царило буйное, безудержное веселье. Уличные торговцы наперебой предлагали сласти, игрушки, цветные банты; мчались наперегонки с бешеной скоростью сани, заставляя гуляющих шарахаться в стороны, а седоки — мужчины, женщины и дети — хохотали, что-то выкрикивали и жались друг к другу. Ямщики, встав во весь рост, размахивали над головой длинными кнутами и понукали лошадей пронзительными воплями, которым вторила ревущая толпа. Праздник начинал превращаться в пьяную оргию.

Немного дальше, там, где кончались дома, было поспокойнее. С одной стороны тянулся низкий бугристый берег, и чахлые ивы клонились к неподвижной, замерзшей реке. На другой стороне виднелась кладбищенская стена, а за ней простиралось поросшее жидким кустарником болото. Ветер трепал и гнул оголенные, сухие ветви. Впереди всходил бледный месяц; позади, под облачным красноватым небом, шумел город.

Они свернули с дороги за кладбищем, там, где следы на снегу вели к

чахлым редким кустам. Карол молча шел по утоптанной тропинке, вившейся между кустами. Оливия, как во сне, следовала за ним.

Они описали по болоту широкий полукруг и, обогнув кладбище, подошли к нему со стороны, наиболее удаленной от дороги. Канавка и земляная насыпь позади нее отмечали границы кладбища. За канавкой тянулись длинные ряды незарытых пустых могил, — продолговатые, заранее выкопанные и наполовину засыпанные снегом ямы ждали своих будущих обитателей. Между могилами высились кучи выброшенной из ям промерзлой земли, которой потом засыпят могилы. Самый дальний ряд был уже засыпан, и в головах возвышались небольшие одинаковые с виду деревянные кресты. Это было военное кладбище, где за каждой ротой был закреплен свой ряд. Более высокие кресты отмечали могилы вахмистров и фельдфебелей. За военным кладбищем началось место погребения нищих — там беспорядочно сгрудились кое-как насыпанные земляные холмики с покосившимися гнилыми крестами, сколоченными наспех из обрезков еловых досок. Вдалеке в сгущавшихся сумерках поблескивали пышные надгробия и часовни кладбища для состоятельных людей.

Из-за чахлах деревьев вышел мужчина и направился к ним. Увидев голубой мундир, Оливия задрожала. Карол подошел к незнакомцу.

— Большое спасибо, что пришли. Не беспокойтесь — поблизости никого нет. Это девушка, на которой он должен был жениться. Расскажите ей все, что знаете.

Жандарм украдкой взглянул на Оливию и тут же снова опустил глаза, разминая сапогом снежную глыбу.

Он был еще совсем молод, с широким добродушным лицом и круглыми светло-голубыми испуганными глазами.

— Я дежурил вчера в коридоре, барышня, — заговорил он с сильным волжским акцентом и умолк.

— В той крепости, куда его привезли, — вставил Карол.

— Было уже почти утро. Я видел, как его несли по коридору. Он повернул голову и посмотрел на меня, но ничего не сказал. Его поместили в третью камеру.

— В одиночку?

— В одиночку, барышня. Он вел себя очень спокойно. За все утро я ничего не слышал, разве как он кашлял. Но когда Васильич принес ему обед, он что-то сказал, только очень тихо.

— А Васильич кто — тюремный надзиратель?

— Да. Он дежурил, разносил обед. Он вышел оттуда очень злой и говорит: «Чистый грех — пропадают задарма такие хорошие щи. Он уж

почитай что помер, даже глазом не повел на миску. Я бы лучше сам эти щи съел!» Вот что он сказал.

— А кроме Васильича, никто к нему не заходил?

— Вечером, ваша милость, заходил старший тюремщик с доктором. Они очень скоро вышли обратно, и я слышал, как доктор сказал: «Какой прок? Он не протянет до утра». Но он протянул.

— Сколько он еще прожил?

— До полудня следующего дня. Это было вчера. Я опять ночью дежурил. В восемь часов меня сменили, а как пришел я вечером, слышу — он стонет и что-то сам с собой говорит. Но слов я не разобрал. В горле у него хрипело, а один раз я слышал, как он просил воды. Потом в шесть утра меня сменил Осип, и я ушел.

— И Осип дежурил весь вчерашний день?

— Так точно-с, барышня. Он сейчас вон в той деревне, нас обоих отпустили по случаю праздника. Осип этот пошел и напился допьяна, а мне сказал: «По нашей работе надо беспрерывно пить, не то не стерпишь. Вот и сейчас все слышу, как он стонет да просит: «Воды! Воды! Воды!» Осип у нас очень душевный человек.

— Он ему дал напиться?

— Что вы, барышня, разве кто посмеет? Запрещено приказом.

— Довольно, я думаю, — сказал Карол, кладя руку на плечо Оливии.  
— Теперь вы верите?

— Молчите, я должна знать все. Значит, он умер вчера в полдень, когда вас на дежурстве не было?

— Да, барышня. Осип говорил, он стонал все тише и тише, а потом послышалось вроде как кто пилил дерево, и после ничего не стало слышно. А вечером нас послали вынести тело. Нам дали ящик, чтоб его положить. Нет, барышня, не гроб, а большой сосновый ящик. Мы вынесли его из крепости — это было, кажись, часа в два ночи — и свезли сюда.

— Так, значит, он похоронен здесь? Я хочу видеть могилу.

Жандарм робко, искоса взглянул на нее.

— Это... это не могила, барышня. Не как положено у христиан. Я вам покажу.

На самом краю кладбища валялось несколько свежих комьев земли. Чтобы они не бросались в глаза, их наспех забросали снегом. Подойдя поближе, жандарм остановился и, увидя, что Карол стоит с непокрытой головой, снял фуражку, потом опустился на колени и пощупал руками снег.

— Здесь.

Он разгреб снег и показал им конец вбитого в землю деревянного кола.

— Кол заколачивают, чтобы не копать в том же месте, — тихо проговорил Карол.

— Яма была мелкая, — сказал жандарм, неловко поднимаясь на ноги, — еле и такую выкопали. Уж больно земля промерзла.

Оливия посмотрела на жандарма. Между ними лежали свежие комья земли.

— А вы уверены, что он был мертв, когда его клали в яму?

Жандарм, разинув рот, глядел то на Оливию, то на Карола. Потом перекрестился трясущейся рукой:

— Христос с вами, барышня! Да неужто мы похоронили бы его заживо?

— Откуда я знаю? — спросила она тем же ровным, безжизненным голосом.

Карол тронул жандарма за рукав.

— Вы видели его лицо? Расскажите ей.

— Видел. — Жандарм содрогнулся. — Он... он, видать, сильно намучился. Рубашка была вся в крови. Он был совсем застывший.

— Теперь все ясно, — сказал Карол. — Вы возвращайтесь вдоль канавы, а мы обойдем кругом. Так безопасней. До свидания. Спасибо вам.



Жандарм еще раз перекрестился и ушел, оставив их у могилы. Стемнело. Немного погодя Карол взял Оливию под руку.  
— Идемте.

Они пошли назад через чахлый кустарник.

— Думайте только об одном, — проговорил Карол, — что бы ни было — он мертв, и они ничего больше не могут ему сделать. Это слабое утешение, но мне оно очень помогло, когда у меня умерла сестра.

Оливия медленно повернула голову и посмотрела ему прямо в глаза.

— Мне оно тоже помогает. Но вы уверены, что он был мертв, когда они его закопали?

— Совершенно уверен, дорогая.

Оливия уехала в Англию той же ночью. Если б она задержалась, Карол не мог бы проводить ее: по настоянию полиции он должен был наутро покинуть город. Он упаковал ее вещи, расплатился с хозяйкой, купил билет. Оливия пребывала в полнейшей апатии. Она ела, одевалась и ходила, только когда он напоминал ей об этом. Она не разговаривала, но время от времени задавала ему тихо один и тот же вопрос:

— А вы уверены, что он был мертв, когда...

— Совершенно уверен, — следовал неизменный ответ.

Она спросила об этом и в вагоне, когда он укутывал ей пледом ноги.

— Совершенно уверен. — повторил Карол. Послышался удар колокола. Кондуктор крикнул:

— Занимайте места!

Карол спрыгнул на платформу, и дверь вагона захлопнулась.

— Это второй сигнал. Через минуту поезд тронется. Я телеграфировал вашим родным, чтобы вас встретили в Дувре.

— Карол

Она поднесла руку ко лбу, стараясь что-то вспомнить. Он вскочил на подножку и заглянул в окно.

— Да?

Послышался тот же вопрос — единственный, который ее интересовал:

— А вы уверены, что он был мертв, когда они бросили его в яму?

— Совершенно уверен, дорогая, — все с тем же неистощимым терпением ответил он.

В третий раз ударил колокол. Карол поднял руку.

— До свидания. При первой возможности я приеду в Англию и поведу с вами.

Глаза Оливии, неподвижные и потухшие, смотрели куда-то мимо него. Поезд тронулся. Когда он скрылся из виду, Карол повернулся и пошел было назад по платформе, но вдруг остановился, схватившись руками за горло. К нему подошел носильщик.

— Что с вами, барин? Может, позвать кого?

— Скажи, чтоб мне подали... водки, — прошептал Карол. Он судорожно всхлипывал, как истеричная гимназистка. Носильщик побежал в буфет. Карол побрел за ним и по дороге задел кого-то из провожающих. Тот вначале сердито оглянулся, но потом, удивленно вскрикнув, протянул руку:

— Доктор Славинский! Боже мой, что с вами?

Карол злобно оттолкнул его в сторону.

— Убирайтесь к черту! Я хочу напиться.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА I

В Дуврском порту Оливию встретил Дик Грей. Мистер Лэтам был в тот день занят, и Дик, успевший за это время стать другом семьи, предложил свои услуги. Когда она спускалась по сходням, он бросился к ней навстречу со словами приветствия, но умолк на полуслове и замер, не сводя с Оливии глаз. Она, казалось, не заметила этого. Дик взял у нее чемодан, и она машинально последовала за ним к поезду. В вагоне он долго не решался заговорить и обращался к ней, только когда было необходимо. Наконец он отложил газету и наклонился к девушке. Они проезжали мимо полей, с которых уже был убран хмель. Оливия молча смотрела в окно.

— Оливия, неужели он...?

— Он умер, — ответила она, не шевельнувшись, и Дик благо разумно воздержался от дальнейших расспросов.

Но родители и сестра проявили гораздо меньше чуткости. Правда, они тоже ни о чем не спрашивали, но ошеломленное лицо отца, исполненный ужаса крик, невольно сорвавшийся с его уст: «Боже милостивый, да это Оливия!», безуспешные попытки принять непринужденный вид («Как ты напугала нас, дорогая, ведь мы ожидали тебя с вечерним поездом») были хуже всяких расспросов. А Дженни, вначале молча смотревшая на сестру, вдруг разрыдалась и выбежала из комнаты. Особенно потрясена была мать Оливии.

Первое время родные думали, что она умирает от какого-то неизлечимого недуга. Уж не подхватила ли она злокачественную малярию? Они убеждали ее показаться врачу. Оливия пыталась возражать и устало доказывала, что вполне здорова, но потом, коль скоро родственники продолжали настаивать, она согласилась, — лишь бы ее оставили в покое. Отец повез Оливию в Лондон и показал специалисту.

— Малокровие и сильное истощение нервной системы, — сказал доктор. — Возможно, ей пришлось пережить какое-то потрясение или она чем-то угнетена.

— Но вы только посмотрите на нее! — вскричала миссис Лэтам, когда ей сообщили диагноз. — Она превратилась в настоящий скелет! Рот ввалился, волосы поблекли. Неужели все дело только в нервном истощении?

К сожалению, дело было только в этом. Окажись Оливия от природы не так крепка и здорова, заболевание ее протекало бы гораздо более тяжело, и это могло принести ей хоть одно облегчение: избавить от необходимости участвовать в повседневной жизни семьи. Но Оливия была слишком вынослива, чтобы всерьез слечь, и только медленно, неотвратно угасала. По словам матери, она превратилась в «настоящий скелет» и, несмотря на тщательный уход, все больше и больше худела. За три месяца она так ослабла, что задыхалась, дойдя до конца садовой дорожки; сердце начинало учащенно биться, стоило ей подняться на несколько ступенек. Ее мучили бессонница, невыносимые головные боли, ночные кошмары, внезапные ознобы. И это было все.

Первые месяцы никто не заикался о ее будущем, да и сама Оливия, по-видимому, не думала об этом. Она вернулась в Англию, повинувшись слепому инстинкту, гнавшему ее домой. А может быть, она сделала так по настоянию Карола, а ей... не все ли было равно, куда ехать? Возвратясь домой, она безучастно подчинилась привычному распорядку и равнодушно принимала или терпела все мелочи, в которых выражалась любовь ее матери: крепкий бульон, экстракт солода, робкие ласки и тому подобное. Она и в самом деле стала глубоко равнодушна ко всему на свете, даже к памяти погибшего возлюбленного. Возможно, ей было суждено испытать в дальнейшем боль утраты, но пока ее мучили лишь невыносимые боли в затылке да нескончаемые кошмары, терзавшие ее ночь за ночью и гнавшие прочь сон. «Если б я могла заснуть, — думала она, — если бы мне только заснуть... Из-за этой ужасной бессонницы меня так страшит наступление сумерек и мне так тяжело, так зябко днем. Сон сделал бы меня прежней Оливией...»

Но еще до наступления лета ей уже стало казаться, что все будет хорошо, если только она не заснет. Ведь когда бодрствуешь, всегда можно усилием воли защитить себя и отогнать самые страшные видения. Спящий же человек не властен над собой и бессилен с ними бороться. Ее возмущала эта несправедливость, эта предательская всеобщая потребность во сне, которую она теперь считала ловушкой, куда попадают даже самые предусмотрительные люди. Можно упорядочить свою жизнь, мысли, поступки и воспитать свои чувства, чтобы они, подобно верному псу, следовали на поводу у разума. И все-таки оказываешься вдруг во власти сна, который превращает тебя в немогущую и безвольную жертву страшных видений, все время роящихся в мозгу. Если бы не эти ночные кошмары, она сумела бы как-нибудь все забыть. Они проходили перед ней нескончаемой вереницей: ледяные поля, болота, слепящий снег; она, Оливия,

разгребающая мерзлую землю, чтобы проверить, была ли у него агония, не похоронили ли его заживо; смеющиеся лица; красные сластолюбивые губы, шепчущие непристойности; лабиринты коридоров, коридоров, бескончаемых коридоров с побеленными стенами. Иногда, заблудившись в этих коридорах, она бродила всю ночь, стараясь идти на слабый, далекий голос: «Воды! Воды! Воды!» В другие ночи тот же едва слышимый зов доносился из-под растрескавшихся глыб льда, а она блуждала, скользя и спотыкаясь, среди могил. Ища опоры, она протягивала во мраке руки, но наталкивалась лишь на деревянные колы, вбитые в землю.

По ночам к ней часто вбегали обеспокоенные мать или сестра. Они заставляли Оливию в постели: она спала с широко раскрытыми глазами, бормоча во сне что-то невнятное. Когда ее будили, она лишь говорила: «Дурной сон», — и снова ложилась, словно собираясь заснуть, но глаза ее были полны ужаса. Днем она большей частью молчала, а порой становилась чрезмерно разговорчивой, болтала и смеялась по каждому пустячному поводу. Но в каком бы настроении ни была Оливия, она ни разу не обмолвилась о том, что ее тяготило. И отец с матерью ничего не понимали. Впрочем, расскажи она им все — они и тогда не поняли бы ничего.

Для Дженни — избалованной любимицы всех домочадцев — приезд неузнаваемо изменившейся сестры был тяжелым и горьким разочарованием, первым в ее жизни. За минувшие полгода Дженни очень изменилась: в легкомысленной и тщеславной девушке пробудилось вдруг чувство долга. Натура у нее была податливая, восприимчивая, и она старалась во всем подражать старшей сестре.

— Конечно, я никогда не буду такой умной, как Оливия, — говорила она матери, — но я постараюсь стать такой же доброй.

В этом стремлении сказало в известной степени влияние молодого священника, с каждым днем возраставшее. Тем не менее оно было вполне искренним, и Дженни честно старалась претворить его в жизнь: она неоднократно отказывалась от развлечений, чтобы посидеть у постели больной матери. Сожалея о пропущенных танцульках и несостоявшихся свиданиях с молодыми людьми, она утешала себя тем, что скоро приедет Оливия и похвалит ее за примерное поведение. Но домой приехала не Оливия, а какое-то привидение с запавшими щеками и тяжелым взглядом, которое явно не интересовалось ее благонаравием. И бедняжка Дженни с недоумением и страхом взирала на человеческую трагедию, впервые разыгравшуюся у нее на глазах.

Разочарование и растерянность, переживаемые Дженни и миссис

Лэтам, еще больше сблизили их, но зато отдалили от Оливии. В защищенной от невзгод жизни миссис Лэтам не было места страданию. С домашними заботами и неурядицами она давно свыклась и вот уже восемнадцать лет покорно сносила свои телесные недуги и безотчетные религиозные сомнения. Но и только. В своей жизни она познала лишь одно подлинное горе — смерть маленького сына, но с тех пор жизнь ее текла ровно и спокойно, лишь изредка волнуемая мелкими огорчениями и неприятностями. Все было так же незыблемо и знакомо, как смена времен года.

Вначале ее тяготило такое однообразие, но потом она привыкла. А теперь в ее размеренное, серенькое существование ворвалось извне что-то мрачное, страшное, почти угрожающее. Оливия не прожила дома и месяца, как мать уже стала с тайным недоверием присматриваться к ней и бессознательно все больше сблизиться с младшей дочерью, словно только она была ее настоящей плотью и кровью, а та, другая, — чужой и лишней. Тем не менее и она и Дженни относились к Оливии очень заботливо. Если бы Оливия вернулась домой с каким-либо понятным им горем, которое они разделили и оплакали бы с ней, как свое собственное, их любовь только возросла бы от этого. Но Оливия вернулась с печатью мертвого молчания на устах и не выдавала своей тайны.

Отец тоже молчал. Он один смутно догадывался о том, что происходило с Оливией. Конечно, он не понимал, что именно могло превратить его цветущую дочь, которой он так гордился, в эту измученную незнакомку; но, вглядываясь в тоскливые глаза Оливии, он понимал, что ее надо оставить в покое, не мучить вопросами и назойливым участием. И до некоторой степени он был вознагражден за свою сдержанность: Оливия избегала его меньше, чем остальных. Правда, его заветная надежда, что когда-нибудь она сама ему во всем откроется, постепенно угасла.

— Мне кажется, она сторонится меня меньше, чем матери и сестры, — неуверенно сказал он домашнему врачу, очевидно, боясь поверить даже такому незначительному предпочтению, — но, может быть, она просто не замечает меня, потому что я ее не беспокою.

Если бы и другие дали Оливии возможность не замечать их, она чувствовала бы себя гораздо уверенней и свободней. Но укоряющие, испуганные глазки Дженни, озабоченное лицо матери и ее робкие нежные ласки, молчаливое сочувствие Дика, полные жалости взгляды соседей — все это казалось ей жестокой и бессмысленной навязчивостью. «Почему они не хотят оставить меня в покое? — с гневом и возмущением думала она после каждого очередного проявления непрошеного соблезнования.

— Почему они не оставят меня в покое?»

Ее обострившаяся чувствительность носила какой-то удивительно поверхностный характер: самые незначительные события повергали ее в настоящее смятение, но душа оставалась холодна и безучастна. Умри кто-нибудь в семье — она вряд ли огорчилась бы, но одно неосторожное слово доводило ее до умопомрачения. Так же мучительно несоразмерны были и ее физические восприятия. Как-то миссис Лэтам, проходя мимо кушетки, на которой Оливия проводила теперь почти все время, поправила на ней сползшую шаль. Оливия вскрикнула, словно от острой боли, и подняла руку. Широкий рукав сполз к плечу, и на коже — там, где к ней слегка прикоснулись пальцы матери, — проступили красные, как от ожога, пятна.

Однажды в мае миссис Лэтам встретила на пороге вернувшегося из банка мужа.

— Старайся ступать тише, Альфред, — сказала она, — Оливия на кушетке в гостиной, я едва уговорила ее уснуть. Мы так намучились с ней за день.

— Опять головная боль?

Оливия вставала теперь поздно, и мистеру Лэтаму не удавалось повидаться с ней до ухода.

— Да, и на этот раз просто чудовищная. Все утро она бродила взад и вперед по комнате, не находя себе места. Я послала за доктором Муртоном.

— Он уже был?

— Да. Дал ей что-то успокаивающее, но говорит, что не может назначить никакого систематического лечения. Он только и делает, что повторяет слова лондонского специалиста: Оливия чем-то угнетена, и если б она поделилась с кем-нибудь, ей стало бы легче. Альфред, не попытаться ли тебе вызвать ее на откровенность? Если б мы только знали...

— Бесплезно снова возвращаться к этому, Мэри. Не можем же мы подвергнуть ее допросу! Придет день, когда она, быть может, заговорит сама.

— Она не сделает этого, скорее умрет. Пойди взгляни на нее, она сейчас крепко спит. До сегодняшнего дня я не представляла себе, как она исхудала.

Мистер Лэтам вошел в комнату в войлочных туфлях и, затаив дыхание, склонился над Оливией. Халат распахнулся, и были видны ее иссохшие руки и шея. Лицо во сне заострилось, как у трупа. Отец отвернулся и отошел к окну.

— Боже милостивый! — чуть слышно проговорил он. Миссис Лэтам подошла к мужу и взяла его за руку.

— Альфред, она умрет.

Мистер Лэтам ничего не ответил.

— К нам идет почтальон, — прошептала она, выглянув в окно. — Как бы он не разбудил ее.

Мистер Лэтам открыл окно.

— Пожалуйста, не стучите в дверь Я сейчас...

Но почтальон не слышал. Он дважды сильно стукнул во входную дверь, и Оливия с диким воплем, разнесшимся по всему дому, вскочила с дивана:

— Жандармы! Жандармы!

Очнувшись, она увидела отца с матерью. Никто не проронил ни слова. Оливия ушла к себе, а мистер и миссис Лэтам остались в гостиной, избегая смотреть друг другу в глаза.

На следующий день миссис Лэтам застала Оливию в саду. Она лежала в шезлонге. Миссис Лэтам неслышно подошла сзади и обвила шею дочери руками.

— Не надо, мама, — сказала, отвернувшись, девушка, — ты делаешь мне больно.

Миссис Лэтам поспешила отдернуть руки; она уже давно примирилась с непонятной, противоестественной чувствительностью дочери к прикосновениям. Взгляд ее скользнул по руке Оливии, лежавшей на подлокотнике: крошечные волоски на ней то поднимались, словно от холода или испуга, то опускались.

— Оливия, дитя мое, — произнесла она наконец, — расскажи мне, что с тобой происходит?

— Я ведь уже говорила тебе, мама, что со мной ничего не происходит. Я просто устала, и мне слегка нездоровится — вот и все.

Миссис Лэтам посмотрела в сторону, на маргаритки.

— Видишь ли, дорогая, вчера мы с отцом невольно услышали, что ты сказала, когда тебя разбудил почтальон.

Оливия зловеще стиснула зубы.

— Я ничего не сказала.

— Дитя мое, я не хочу быть навязчивой, но подумай только, каково было нам с отцом услышать это одно-единственное слово. Если б ты только призналась нам, что...

И осеклась. Оливия встала и, сжав губы, молча смотрела на мать.

— Так, значит, вы подслушиваете, что я говорю во сне? Хорошо хоть, что ты поставила меня в известность! Если живешь среди шпионов, лучше уж знать об этом!

— Оливия! — вне себя вскричала миссис Лэтам. Ни разу в жизни с ней никто так не разговаривал. И подумать только, что такое сказала ее собственная дочь!

В глазах Оливии вспыхнул недобрый огонек. С минуту она смотрела на мать, потом повернулась и медленно пошла к дому.

Когда мистер Лэтам вернулся, он застал жену в слезах. Безутешно рыдая, она мало-помалу рассказала ему обо всем случившемся. Лицо мистера Лэтама побледнело. Подобная грубость была так не свойственна Оливии, что смутные догадки, мучившие отца, стали принимать вполне определенные формы.

— Где она? — спросил он.

— У себя в комнате. Не говори с ней об этом, Альфред. Я сама во всем виновата. Ты ведь предупреждал меня и просил не задавать ей вопросов.

Не ответив, мистер Лэтам поднялся наверх и постучался в комнату Оливии. Она сидела у окна, как всегда одна, и даже не подняла головы, чтобы посмотреть, кто вошел.

— Опять головная боль, дорогая?

— Нет.

— Спала ли ты ночью?

— Как обычно.

— Мне хотелось бы поговорить с тобой минутку, если ты согласна.

Оливия не шевельнулась.

— Пожалуйста.

Мистер Лэтам сел рядом и взял дочь за руку. Оливия сидела все в той же позе, но руку отдернула. Пальцы ее, скользнувшие по его руке, были холодны, как ледяные сосульки.

— Вернувшись домой, я застал твою мать в слезах, — начал он. — Она страшно огорчена вашей сегодняшней беседой. Она винит себя за то, что взволновала тебя, но она... она ведь твоя мать, Оливия. И ты знаешь, что она слаба здоровьем.

Оливия смотрела на свои холодные, стиснутые на коленях руки и молчала.

— Не кажется ли тебе, — решил наконец мистер Лэтам, — что ты немножко жестока? Бог свидетель, дитя, я не стараюсь проникнуть в твои тайны, но все же...

— Все же ты не понимаешь, как я могла быть настолько черствой, что довела маму до слез? Я тоже не понимаю. Наверно, иссякли железы, выделяющие соки дочерней любви, или же они вовсе отмерли. Какой смысл притворяться, будто я люблю вас всех, когда на самом деле вы мне

все безразличны? Я не отрицаю, что вела себя с мамой отвратительно, но этого не произошло бы, если б она оставила меня в покое.

— А разве тем, кто, несмотря на твое безразличие, любит тебя, легко безучастно смотреть, как ты страдаешь от ночных кошмаров? Не могу ли я помочь тебе избавиться от этих страхов? Мне кажется, я мог бы тебя понять.

Оливия медленно встала и прижалась спиной к стене. «Точно беззащитный, затравленный зверек, выгнанный из своей норки», — с болью в душе подумал мистер Лэтам.

— Отец, я вернулась домой потому что мне больше некуда было деться. Дайте мне немного отдохнуть и прийти в себя. Я не буду долго обременять вас. Вспомни, ведь до сих пор я никогда не была обузой ни для тебя, ни для матери. Но если вы начнете расспрашивать меня, мне придется уйти.

— Уйти? Опять... туда?

— Куда угодно. В первую попавшуюся канаву, если не смогу уползти дальше. Лучше умереть там с голоду, чем сходить здесь с ума от вопросов. Но почему, почему вы не можете оставить меня в покое? Куда бы я ни пошла, везде и всюду меня расспрашивают. Неужели вы не понимаете, что я просто задыхаюсь от этого? Вот и сейчас мне душно...

Голос Оливии пресекся, из горла вырвался хриплый вопль. Она схватилась руками за воротник и разорвала его. Мистер Лэтам, не на шутку испугавшись, позвал на помощь. Когда в комнату вбежали домашние, Оливия судорожно ловила ртом воздух. Говорить она не могла, казалось — она вот-вот задохнется. Никто из родных не знал, что в таком случае полагается делать, но, к счастью, судорога, которая свела горло, скоро ослабела, и Оливия пришла в себя. Припадок так измучил ее, что обессиленная девушка расплакалась. Схватив отца за руку, она непрерывно повторяла:

— Обещай, что не будешь меня расспрашивать! Скажи всем, чтобы меня не расспрашивали!

Мистер Лэтам вздохнул, поцеловал дочь и вышел из комнаты. Он обещал, что же еще ему оставалось делать? Но от дочери, которую нельзя ни о чем спрашивать, не приходится ждать утешения в старости.

## ГЛАВА II

Только во второй половине лета Оливия поняла, какая над ней нависла

угроза. Смутные кошмары, преследовавшие ее всю весну, приняли более четкие очертания, тени стали зловецей, ночные видения — навязчивей. Перед ее закрытыми в полудреме глазами проплывали чьи-то смеющиеся лица. Вначале они появлялись поодиночке и исчезали, потом стали тянуться длинной вереницей; они возникали, светились и меркли, словно картины волшебного фонаря. Но до сих пор этим все и ограничивалось.

Первая настоящая галлюцинация подстерегла ее в жаркий июльский полдень. Она лежала в шезлонге на лужайке, в тени большого каштана; солнечные блики скользили по ее лицу и платью. В нескольких шагах от нее, щедро залитый светом, цвел куст лаванды. Сначала Оливия лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к жужжанию пчел, потом оперлась на локоть и посмотрела в глубь сада. Там было настоящее пиршество красок. У дома на фоне нежного жасмина пылали алые и желтые розы; голубой дельфиниум, красная гвоздика, ноготки и лилейник сверкали и переливались в лучах жаркого солнца; со шпалер свешивались на дорожку побег пурпурного ломоноса. А совсем рядом, под матовыми листьями лаванды, горела изумрудами подстриженная трава газона.

Но вдруг свет и краски померкли. Перед ней возникла темная многоугольная комната, стены которой были сплошь увешаны картинами. В комнате была она сама, Оливия, но только не вся она, а лишь ее часть. Другая же часть с враждебным чувством следила со стороны за всем происходящим. Первая — настоящая Оливия — подошла к стене, увешанной картинами, и тут же одна из картин исчезла, оставив после себя черный прямоугольник, словно кто-то набросил на раму плотное покрывало. Через секунду исчезла вторая картина, потом третья, и вскоре на стене остались одни черные пустоты. Страх объял Оливию, и она бросилась с простертыми руками к ближайшему черному прямоугольнику. Но там ничего не оказалось, и руки ее повисли в темном воздухе.

Тогда она устремила взгляд на одну из картин — пейзаж с лужайкой, деревьями и извилистым ручьем. Она смотрела только на нее, стараясь не видеть исчезающие стены и страшную черноту, подступавшую со всех сторон. И все-таки в углу картины появилось темное пятнышко, оно постепенно ширилось, и вдруг исчезли сразу и трава, и деревья, и вода, и со стены глянул непроглядный мрак, зловеций и ненасытный, как волчьи глаза. И тогда несчастная поняла, что все привычные ей радости, привязанности, надежды были лишь хрупкой раскрашенной оболочкой, отделявшей ее от крошечной тьмы.

Тем временем вторая Оливия со стороны равнодушно и безучастно смотрела на происходящее. Она видела, как под обреченной Оливией

остался лишь крошечный кусочек пола — жалкий островок, затерянный в безграничной мгле. Наконец исчез и он, и над Оливией, заглушая ее отчаянные вопли о помощи, сомкнулись черные волны. А вторая Оливия только смотрела со стороны и смеялась. Она не протянула даже руки, чтобы помочь гибнущей, ибо в ее иссохшем сердце не было места жалости.

Та, другая Оливия захлебывалась и боролась, моля о помощи, но тщетно; она то всплывала на поверхность, то снова погружалась, и над ней сходились и расходились волны, струившиеся между пальцев, давившие на глаза. В пустоте мелькали призраки, они мерцали вдали, сияли рядом, и несчастная протягивала к ним руки, взывая о помощи, припадала со стоном к их стопам, но никто не хотел помочь ей. Иногда, напрягая все силы, она подплывала вплотную к этим светящимся теням. Тогда она старалась ухватиться за них покрепче и удержаться на поверхности. Но мягкие и холодные видения ускользали из ее ослабевших пальцев либо оказывались лишь хрупкой раскрашенной оболочкой, сжимавшейся и исчезающей при первом же прикосновении. И несчастная погружалась все глубже и глубже в поглощавшие ее черные волны. Вдруг она заметила черное пятно внутри самой себя, какую-то пустоту, которая все росла. Это был мрак, обитавший в ее собственной душе, который стремился слиться с мраком, царившим извне, разрушить и окончательно уничтожить то жалкое создание, которое считало себя живым, а на самом деле, как и все в небесах и на земле, было лишь хрупкой раскрашенной оболочкой.

Придя в себя, Оливия прежде всего заметила яркую зелень подстриженного газона. Потом она увидела сверкающий всеми цветами радуги сад и услышала жужжание пчел на кусте лаванды. Она лежала, боясь пошевелиться.

На аллее показался экипаж отца. Поравнявшись с Оливией, мистер Лэтам наклонился и бросил ей на колени ветку жимолости.

— Лови. Любимые твои цветы.

Она потянулась к розовым лепесткам, упавшим ей на колени, но, не коснувшись их, тут же отдернула руку. Что, если это... не настоящие цветы, а только... раскрашенные оболочки? Она закрыла глаза похолодевшими руками, стараясь не смотреть на жимолость. А вдруг она съезжится от ее прикосновения?

Очевидно, она пролежала так довольно долго. Когда голос матери окликнул ее, тень от дерева уже сдвинулась далеко в сторону и солнечные лучи падали прямо на непокрытую голову Оливии.

— Дорогая, ведь от такого пекла разболится голова! Да ты, детка, кажется, дрожишь!

— Мне холодно, — произнесла чуть слышно Оливия и содрогнулась.

— Холодно в такую жару? А ведь впрямь руки у тебя как лед и совсем влажные. Иди лучше в дом.

Оливия молча повиновалась. Когда мать поцеловала ее в лоб, она снова вздрогнула. Разве может целовать раскрашенная оболочка?

Неужели ее ждет безумие? Эта страшная мысль не давала ей покоя всю ночь. Вначале она заснула, но вскоре с криком вскочила с постели. Разбудил ее знакомый голос: «Воды! Воды! Воды!»

На этот раз видение было таким реальным, что голос прозвучал у самого ее уха. Трясущимися руками Оливия откинула со лба взмокшие спутанные волосы. Никак не привыкнешь к этому: прийти в себя после очередного ночного кошмара было сейчас нисколько не легче, чем в первое время.

Потом она стала думать о раскрашенных оболочках. Но ведь они мерещились ей днем, когда она бодрствовала и вполне владела собой. А крик: «Воды! Воды!» — преследовал ее только во сне. Что, если она и это начнет слышать наяву?

Оливия сразу поняла, что тогда будет. Если это случится, — значит, началось безумие. День за днем, ночь за ночью она ждала и прислушивалась. «Воды! Воды! Воды!» — ритмично выстукивал в бессонные ночи пульс, и в такт ему бесшумно вторило дыхание. Но слышала она этот зов только во сне.

Зато тот, другой страх преследовал ее куда больше. В сентябре это уже была настоящая одержимость: Оливия избегала касаться вещей, страшась, что они могут оказаться раскрашенными оболочками. Особый ужас вызывал в ней сад; его запахи, яркие краски — все это было ненастоящим. В доме Оливию пугала лестница: что, если она рассыплется, как только на нее ступишь? Но хуже всего были эти бесплотные тени, именуемые отцом, матерью и сестрой: они двигались и говорили, словно были настоящие, и целовали ее губами, которые могли вот-вот раствориться в воздухе.

Осенью она немножко окрепла и поправилась, а в начале зимы одно случайное обстоятельство восстановило на некоторое время ее душевное равновесие. В деревне умерла девочка, и мать ребенка, раньше прислуживавшая в доме банкира, поведала Дику о своем желании: пусть «барышни» придут проститься с ее мертвой дочуркой. Когда Дик рассказал об этом Дженни, она тут же согласилась, хотя и поморщилась. Она боялась покойников и еще не научилась любить простых людей. Но ей от всей души хотелось хоть чем-то помочь бедной женщине, особенно если это порадует Дика.

— А вы пойдете? — робко спросил священник Оливию.

— Если угодно, — не поднимая головы, отвечала Оливия, — мне все равно, могу и пойти.

Дик опустил глаза. Он вспомнил прежнюю Оливию, которую не пришлось бы просить об этом; вспомнил, как ее сильные и ловкие руки одевали детские трупики и как матери тянулись к ней за утешением.

Когда Дик и Грей и обе девушки приблизились к кровати, мать нагнулась и откинула с лица ребенка простыню. Со слезами на глазах показывала она им оборки и кружева на рубашечке; видимо, она находила какое-то утешение в том, что на мертвом младенце «все самое лучшее, как у господ».

— Конечно, теперь придется на всем экономить, — сказала она, глядя на гробик с лакированными ручками и шелковой обивкой, — но мы ни за что не согласились бы похоронить свою крошку по-бедному. Нет, ни за что.

Дик одобрил красивый гроб и все остальное, а Дженни, преодолев гадливое чувство, пробормотала в утешение несколько банальных слов и положила на грудь ребенка присланные миссис Лэтам белые хризантемы. Но убитая горем женщина хотя и повторяла, всхлипывая: «Да-да, мисс Дженни», «Спасибо вам, сэр», — отвернулась от утешителей и посмотрела в измученные глаза Оливии.

— Дорогая мисс Оливия, — сказала она, провожая их до двери, — вы тоже немало горя хлебнули — по лицу видно, потому-то вы и мне посочувствуете. — Она снова расплакалась. — Думала ли я, что схороню свое дитятко!

Оливия остановилась, напряженно вникая в смысл этих слов.

— Но ведь это совсем не страшно, раз ребенок действительно умер, — проговорила она наконец, — самое главное не похоронить живого...

Она запнулась, сообразив, что говорит нечто невысказанное, чудовищное. Мать ребенка, вытиравшая фартуком глаза, уронила руки и в ужасе смотрела на Оливию.

— Оливия! — вырвалось у Дженни, когда они вышли на улицу. — Как можно быть такой жестокой?

— Ничего не поделаешь, такой уж я, видно, родилась, — последовал ответ. — Но во всем этом есть что-то нелепое.

— Нелепое? В чем?

— Да вот в этих покойниках, утешениях и расшитых саванах. Люди плачут, потому что умер любимый человек, и посторонние должны соболезновать. А какое это имеет значение? Мертвый не более мертв, чем те, кто считают себя живыми. Почти все мы покойники, только это не так

просто обнаружить.

Дженни открыла было рот, чтобы возразить, но в ту же минуту их нагнал немного задержавшийся у крестьянки Дик и сделал ей знак молчать.

— Обопритесь на мою руку, Оливия, — сказал он. Идти было недалеко, но Оливия выбилась из сил и тяжело опиралась на руку священника. Когда они добрались до дому, лицо ее было смертельно бледным.

— Оливия! — воскликнула Дженни, взглянув на сестру. — Что с тобой?

— Ничего.

Они стояли у лестницы, и Оливия высвободила руку. Перепуганная Дженни бросилась к ней.

— Ты, наверно, заболела. У тебя ужасный вид. Мистер Грей...

Оливия медленно повернулась и, ухватившись за перила, посмотрела на них. Она была похожа на затравленного зверя.

— Оставьте меня в покое! Со мной ничего особенного не происходит. И у меня все в порядке. Я только устала. Понимаете? Устала.

И она поднялась по лестнице.

Всю ночь она металась по комнате, проклиная бога и людей. Вид мертвого ребенка заставил ее понять, что сама она совсем не мертвая, а живая и обречена жить дальше, ибо нет такой силы, которая сломила бы ее железный организм. Почему же другие умирают так легко? И могут легко и быстро забывать.. Им все дается легко: жизнь и смерть, слезы и забвение — все, даже сон. И та мать, чей ребенок умер, спит себе, наверно, глубоким сном, хотя веки ее и опухли от слез. Через год у нее родится другой ребенок, и она станет шить ему другую одежду, тоже с кружевами и оборками, и мертвое дитя будет позабыто.

На какой-то миг она сделалась той Оливией, которую знал Владимир, и сердце ее исполнилось жалости и горячего сочувствия ко всем страждущим. На глаза навернулись слезы, когда она вспомнила заплаканное лицо матери. Но тут же ожила другая Оливия и, подняв голову, рассмеялась. Ох, уж эти скорбные лица счастливцев, оплакивающих своих покойников, которые умирали дома, окруженные близкими. Схоронив их, они день-другой, конечно, горько поплачут, потом недельку потоскуют, а затем отправятся в новых нарядах в церковь, помолятся, осушат слезы и будут считать, что прошли через ад.

О, как ужасна эта раздвоенность сознания: одна часть его все чувствует и страдает, а другая смотрит и смеется. Она заломила над головой руки.

— Я сойду с ума! — закричала она. — Карол, я схожу с ума.

Карол... Да, Карол не принадлежит к самодовольным счастливым, которые оплакивают своих умерших. Но ведь и Карол может оказаться раскрашенной оболочкой. Руки Оливии медленно опустились. Она добрела до своей холодной постели и легла в темноте.

Первый снег выпал еще до рождества. Ночью мистер Лэтам застал Оливию в саду. Спящая, она шла по снегу; ноги ее были босы, на распущенные волосы падали снежинки. Стараясь не разбудить дочь, он попытался увлечь ее за собой к дому, но при первом же прикосновении она с отчаянным криком простерла перед собой руки:

— Снег! Снег! На мне снег! — и лихорадочно-быстрыми движениями стала стряхивать снег с лица и шеи.

— Оливия!

То была миссис Лэтам, выбежавшая на крики дочери, из дома. Оливия бросилась к матери и, дрожа, прильнула к ее груди. Впервые после возвращения домой любовь матери вызвала у нее какое-то ответное чувство. Но и сейчас только на мгновение. Все еще дрожа, она отстранилась и посмотрела на родителей тем жестким взглядом, которого они так боялись...

— Благодарю вас, мне уже хорошо. Я видела дурной сон... про снег.

Но, несмотря на мучившие ее по ночам кошмары, Оливия понемногу набиралась сил. В феврале она уже могла, не испытывая усталости, совершать далекие прогулки. На смену тупому безразличию минувшего года пришло беспокойное оживление. Чаще всего она бродила в одиночестве по оголившемуся лесу. Праздность была так чужда натуре Оливии, что, как только она немного окрепла, ей стало невозможно жить в этой тихой заводи среди безмятежных людей. Однако она не могла без ужаса думать о возвращении в Лондон к своей прежней работе. «С уходом за больными кончено, — изо дня в день твердила себе Оливия, бродя по влажным лесным тропкам, — кончено навсегда». Она покончила со своей профессией в ту ночь, когда спускалась за голубыми мундирами по лестнице. Это вышло не по ее вине, но что случилось, то случилось. Она, медицинская сестра, не сумела защитить вверенного ей больного от насилия, не решилась умереть, защищая его. Если бы даже ее обесчестили, то и это не надломило бы так ее душевных сил. Сотни раз перебирала она в памяти события той ночи, изводя себя тщетными сожалениями. Может быть, она совершила какую-то ошибку? Что, если бы она не подчинилась, а швырнула горящую лампу в лицо офицеру? Но тогда с Владимиром обошлись бы еще бесчеловечней. Возможно, это было бы лучше: он умер

бы скорее и не страдал так от холода.

По мере того как близилась весна и крепло здоровье Оливии, проходило и ее душевное оцепенение. Теперь она ясно понимала, что жизнь ее безвозвратно загублена, от прошлого остались лишь яма на заснеженном болоте да страх перед возвращением галлюцинаций.

Как-то в апреле Оливия ушла из дома очень рано: она не могла оставаться в комнате, где ее всю ночь терзали кошмары. Бродя бесцельно среди полей, она встретила Дика Грея. Весело посвистывая, он приближался к ней со стороны заболоченной низины. Оливия свернула в сторону, желая избежать встречи, но Дик уже заметил ее и, ускорив шаги, поравнялся с девушкой у цветущей вишни. Несмотря на поношенное пальто, он выглядел удивительно свежо и бодро. Сразу было видно, что любовь к человечеству сочетается в Дике с любовью к холодным ваннам и спортивным упражнениям на открытом воздухе. Сапоги его были покрыты болотной грязью, на голове красовалась старая шляпа, в руках бренчал пустой кофейник. Глаза Дика блестели от радости, когда он подбежал к девушке.

— Здравствуйте, Оливия! Как в доброе старое время — встаете спозаранку. Какое чудесное утро, не правда ли?

— Да, — ответила Оливия, глядя на росистую траву.

Лицо Дика омрачилось.

— Опять плохая ночь? Сочувствую всей душой, дорогая!

Рот Оливии сжался. Восторженное настроение друзей и близких всегда отпугивало ее: в такие минуты они были склонны задавать ненужные вопросы. Она поспешно заговорила:

— Судя по вашим сапогам, вы ходили в Джилфорд Холоу?

— Ваша правда. Относил завтрак старой Сюзанне Мид. Ее скрутил ревматизм, и никто не хочет ей помогать, — она известна своим невыносимым характером. Каждое утро бедняжка твердит мне: «Не верю священникам, и не надо мне ваших подачек». Очень мило, не правда ли? Сегодня я сказал ей, что и сам не жалею иных священников, а что до подачек, то она любит горячий кофе, а я люблю ранние прогулки. До чего хорош был сегодня восход, видели?

Некое подобие улыбки мелькнуло на лице Оливии.

— Смешно? — быстро спросил он.

— Я подумала, что сказал бы викарий, услышав ваш разговор с Сюзанной.

Дик расхохотался.

— Бедняга Уикхэм! Он, наверно, каждый вечер вопрошает бога, за

какие такие грехи ниспослан ему священник-социалист. Старикашке и впрямь не повезло.

Дик замолчал и стал подбрасывать носком сапога пучок травы.

— Послушайте, Оливия, я уже давно хочу поговорить с вами, да все как-то не решаюсь. Я...

Он замялся.

Сжав губы и устремив на него неумолимый взгляд, Оливия молчала.

— После нашего разговора в поезде я вас никогда ни о чем не спрашивал, — поспешно продолжал он, — и сейчас не собираюсь надоедать вам своим соболезнованием. Но страшно подумать, что всего за один год человек может прямо-таки растаять. Вы, вероятно, думаете: а какое ему до этого дело?

Глаза ее сверкнули.

— Вот именно, какое вам дело?

— А вот какое: я люблю вас уже не первый год и никогда не докучал вам своими признаниями. Но я молю бога, чтобы вы не замыкались так в себе, не отталкивали тех, кому вы дороги, хоть они и не в силах вам помочь. Дело не во мне, я знаю, что я болван и не стою лучшего обращения, но ваш отец преждевременно стареет...

Оливия молча повернулась спиной к Дику и прижала к лицу цветущую вишневую ветвь. В позе ее было столько безысходного отчаяния, что Дик растерялся и замолчал. Немного погодя он подошел к ней поближе.

— Оливия, я огорчил вас, да?

— Ничуть, но бесполезно говорить обо всем этом. Я знаю, у всех у вас самые добрые намерения, но будет лучше, если вы оставите меня в покое.

Не выпуская ветки, она на секунду подняла голову.

— А что до отца... пожалуй, мне не следовало возвращаться домой. Тогда и вам и мне самой было бы гораздо легче. — Ветка задрожала в ее руке. — Отец... и вы все были так добры, так терпеливы... со мной. Но скоро... я... уеду.

Голос ее замер, она смотрела прямо перед собой расширившимися глазами.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — вырвалось у Дика. — Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что нет лучшего средства исцелить личное несчастье, как заняться делом, в которое веришь. Никогда не жалел я так горько, как сейчас, о том, что в свое время не сумел увлечь вас социализмом. Если б я не был тогда таким идиотом...

— Социализм? — Оливия отпустила ветку. Белые лепестки посыпались ей на платье. Она расхохоталась ему в лицо. — Пилюли

Моррисона для всеобщего счастья? Какие же именно? Те, что употребляют в Хэмстеде вместе с чаем и беседами об экономической статистике? Или, может быть, те, что вы любили глотать в Бермондсее за кружкой пива? Нет уж, по мне — лучше анархизм, тот, что процветает на задворках Сохо наряду с нафабренными усами и жестянками из-под сардин, начиненными тротилом. Во всяком случае, это гораздо заманчивей.

Медленно отступив назад, Дик смотрел на Оливию. Загорелое лицо его побледнело.

— Виноват, — ошалело произнес он, — я не имел права вмешиваться. Впредь этого не будет.

Взгляд Оливии смягчился.

— Простите, Дик, я не хочу быть груба ни с вами, ни с другими, только оставьте меня в покое. Поймите — ни вы и никто другой не в состоянии мне помочь. Я сама должна найти выход.

Выражение страха опять появилось на ее лице. Она медленно повернулась и пошла по тропинке. Дик глядел ей вслед. Она остановилась около розовой маргаритки, доверчиво поднявшей к ней из влажной травы свою круглую головку. Дику стало страшно: он увидел, как Оливия безжалостно раздавила каблуком крошечный скромный цветок. Потом пошла дальше, а он все еще смотрел ей вслед в мрачном раздумье. Неужели это Оливия? И неужели она возненавидела все живое и цветущее только потому, что нет Владимира?

### ГЛАВА III

Щедрое майское солнце заливало светом поля клевера, терновую изгородь за опушкой роци и белый каменный столбик у развилки дороги.

Карол, шедший пешком со станции, остановился на вершине холма, чтобы полюбоваться его зелеными склонами и луговинной, усеянной золотистыми лютиками. Хорошо, что впереди целый день и можно не спеша собраться с силами для встречи с Оливией. Последнее время он пребывал в постоянном нервном напряжении, и выпадали особенно тяжкие дни, когда он с трудом держал себя в руках. До сих пор он вполне владел собой, никто не подозревал, что с ним происходит неладное. Но сам он уже давно об этом догадывался, и теперь догадки перешли в твердую уверенность. Правда, явления эти прогрессируют очень медленно, и он не скоро сдастся. Во всяком случае, он еще успеет проделать уйму работы.

Он сел на столбик и с трудом поставил одну ногу на каменное

основание. По клеверному полю скользили и гасли солнечные блики; среди розоватых головок клевера ярко выделялись желтые цветы прошлогодней тыквы. По ту сторону дороги колыхалась молодая пшеница, меж колосьев местами проглядывали васильки и маки, а еще дальше тянулось пахнущее медом бобовое поле. Где-то рядом в терновой изгороди чирикали в гнезде молодые воробьи.

Карол вытащил из кармана записную книжку и просмотрел свое расписание на следующую неделю. Деловое свидание в Эссексе. Поездка в Шотландию — возникли разногласия в союзе польских рудокопов; к ним он поедет немного позже. Надо как можно скорее выбраться в Ливерпуль, где давно голодают польские эмигранты. Больше всего дел было в Лондоне: несколько поездок в Ист-Энд, две в Бейсуотер, посещение кулуаров палаты общин... Он развернул карту: «Ист-Хэм... Нет, они пусть сами придут ко мне, я туда не выберусь. Финсбери-парк. Где это? Бэттерси...»

Неожиданно вспомнился разговор в кабинете врача, у которого он был несколько часов назад.

— Вы и сами понимаете, что болезнь ваша неизлечима, — сказал тот очень серьезно, — но вы можете задержать ее развитие на несколько лет, если будете вести более спокойный образ жизни. Вам нужно хорошенько отдохнуть.

— Я один из организаторов растущей политической партии, — ответил Карол, — и потому не могу вести спокойный образ жизни. Что касается отдыха, то я успею отдохнуть, когда меня скрутит окончательно.

— Что выгодней для вашей партии: лишиться вас навсегда или только на несколько месяцев? Послушайте, вы же сами врач. Вы не хуже меня знаете, чем все это может кончиться.

Карол, конечно, знал это. Но все равно он не бросит работу, пока не осуществит задуманного. И, кроме того, необходимо позаботиться об Оливии.

— Неужели у всех членов вашей партии такая выдержка? — спросил доктор, пожимая ему на прощанье руку. В ответ Карол только повел плечами. Что толку объяснять? Дело не в выдержке, а в том, что его просто не страшит смерть, ибо смерть для него отнюдь не самое страшное. Но если болезнь столь безжалостна и не убьет его, когда настанет время, он сделает это сам. Во во всяком случае, она не влияет на мозг человека, и он в полном сознании решит все по своей воле. Если для человека нет ничего страшнее смерти... страшнее смерти...

Карол уронил карту, хотел было ее поднять, но опустил руки и сидел не шевелясь. Вот он снова здесь, его враг, этот тайный неотступный страх.

Вызывает его одно воспоминание, от которого сжимается горло. К счастью, это бывает редко, но зато внезапно, как прыжок хищного зверя. Вспомнилась одна ночь в Акатуе. Казалось бы, ночь как ночь, ничего особенного. Ничего, кроме страха.

Как бы ни были плохи его дела, он никогда не терял головы. Быть может, у него вообще крепкие нервы, а может быть, он очень здоров и вынослив физически. Во всяком случае, он оставался цел и невредим там, где другие, не слабее его, кончали пьянством, безумием, самоубийством. Он был совсем спокоен в те три последние ночи, когда умирал Белка — его самый близкий друг в ссылке. Беспросветные, бесконечные ночи, предсмертная агония, которую он не мог ничем облегчить.

Потом началась голодовка, объявленная после того, как начальство отвергло требование заключенных убрать самого свирепого из надзирателей. Отказавшись от воды и пищи, заключенные вынудили начальство пойти на уступки и победили: поголовная голодная смерть заключенных вызвала бы слишком много шума и могла попасть, чего доброго, в иностранную печать. Но победа далась им дорогой ценой. Даже в последний день голодовки, когда от жажды у большинства уже помутился рассудок, Карол сохранил ясность мышления. Не затронула его и эпилепсия, налетевшая, подобно адскому вихрю, на поселок. Один за другим падали наземь его товарищи и корчились в судорогах. Он не потерял самообладания и тогда, когда самый молодой из них припрятал и выпил в припадке отчаяния купорос. Мальчик (ему было только двадцать три года, и все звали его «мальчиком») промучился тридцать часов и умер в полном сознании на руках у Карола. Да, все прошло у него перед глазами, но он не пал духом и не позволил страшным призракам овладеть его рассудком. Но забыть, не вспоминать — он не мог, не смел.

А та ночь выдалась особенная. Правда, событие, о котором Карол сейчас вспомнил, было столь пустячным, что почти изгладилось из памяти. Да и какое оно имело значение? Всего-навсего одна из бесчисленных мелких неприятностей, из которых состоит жизнь. Но в ту ночь он понял, что дошел до предела: еще одно усилие воли, и он сломится, рассудок не выдержит. В ту ночь с ним случился приступ удушья, и, сидя на краю нар, он отчаянно боролся за каждый вздох. Не мужество, выдержка или вера в свое дело покинули его тогда, и лишь не хватало дыхания. И вот теперь, спустя столько лет, в нем словно ожил непобедимый страх той ночи.

Но он быстро отогнал это наваждение; если он и бывал иногда глупцом, то уж, во всяком случае, не часто. «Все это чушь», — сказал он себе. Раз он не сошел с ума тогда, то, безусловно, не сдастся и сейчас. Ведь

все в его руках: небольшая, своевременно принятая доза морфия разрешит самые неразрешимые противоречия, а сделать это может всякий мало-мальски опытный человек.

Карол встал, поднял с земли карту и спрятал ее в карман. Потом, держась руками за изгородь, посмотрел на золотистые луга. По желтому ковру лютиков шла девушка в голубом платье. Когда она приблизилась, ее на какой-то миг заслонил небольшой холмик, потом она показалась снова, четко вырисовываясь на фоне розоватого клевера и зеленеющей пшеницы. Лицо девушки скрывала широкополая шляпа и большой букет лютиков. Карол отступил в сторону, давая ей дорогу. Сердце его глухо забилося: неужели у всех английских девушек такая ровная походка, такая великолепная посадка головы?

Девушка переложила букет в другую руку, и он увидел ее лицо. В следующее мгновение она тоже узнала его и остановилась как вкопанная на дорожке. Лютики один за другим выпали из ее рук на землю. Карол наклонился и стал собирать цветы. Он заговорил лишь после того, как собрал весь букет, и, хотя времени на это ушло довольно много, Оливия оставалась неподвижной.

— Я не мог приехать раньше, — сказал Карол, поднимая последний цветок, — накопилась масса всяких дел.

— Дел? — с завистью переспросила Оливия. — А вот у меня нет никаких дел. И заняться мне решительно нечем.

Они свернули на лесную тропинку.

— Смотрите, — сказала Оливия, — вот вероника. Она сорвала несколько стеблей и, смеясь, сдула с них крошечные лепестки.

— Видите? Вот их и нет. Исчезли, как исчезает все в мире.

— Не все.

Оливия, сощурившись, смотрела на Карола.

— Вы, как всегда, точны. Каким поездом вы приехали? Дневным? Наверно, хотите пить? Идемте к нам, будем пить чай.

Он последовал за ней в сад. Оливия шла впереди, высоко подняв голову. «Разглядывает меня, как микроба под микроскопом», — со злостью думала девушка.

— Отец, — сказала она вышедшему им навстречу мистеру Лэтаму, — это доктор Славинский, с которым я познакомилась в России. Он побудет в Хатбридже до понедельника.

На лице мистера Лэтама мелькнуло выражение неприязни, но он тут же овладел собой и дружески пожал гостю руку. Однако от Карола это не ускользнуло. «Он недолюбливает всех, кого она знала в России, — подумал

он, кланяясь Дженни, которая вошла в комнату с соломенной шляпой в руке. — Так же, как и ее хорошенькая сестренка. Если бы они могли, то с удовольствием выставили бы меня за дверь».

Родные Оливии и в самом деле с трудом переносили присутствие непрошеного гостя. Все трое были глубоко убеждены в том, что этот лохматый рыжий чужак владел ключом к той запертой двери, в которую они напрасно стучались вот уже полтора года. Кроме того, каждый на свой лад подозревал, что этот человек имел тайную власть над Оливией и использовал ее во зло. Сама Оливия была с ним очень холодна и весь день не отходила от матери и сестры, явно боясь остаться наедине с неожиданным пришельцем. При виде ее испуганных глаз мистер Лэтам сжимал под столом кулаки. Что до миссис Лэтам, то она с трудом скрывала свою враждебность, а у Дженни, сидевшей напротив Карола, был вид разъяренного спаниеля, готового вцепиться ему в глотку, как только он затронет Оливию. В гневе она становилась еще миловидней, чем обычно.

Карол, верный себе, все видел и молчал. Вскоре он ушел, отклонив под предлогом занятости холодное приглашение мистера Лэтама остаться к обеду. Ему уже было ясно, что Оливия перенесла тяжелое нервное потрясение, но ничего не рассказала родным, и поэтому они в своем горе и неведении считают его виновником всех бед, свалившихся на Оливию.

— Папа! — вскричала Дженни, когда Оливия ушла к себе. — Она боится этого человека.

— Почему ты так думаешь? — сухо осведомился мистер Лэтам, не глядя на дочь.

— Я уверена в этом. Когда я уронила клубок шерсти и наклонилась, чтобы его поднять, я оперлась об ее колени и почувствовала, что она вся дрожит.

— Пустяки! Просто у тебя разыгралось воображение. Не забудь взять свечу, дорогая.

Когда Дженни вышла, отец и мать, словно сговорившись, повернулись друг к другу.

— В чем тут дело, Альфред? Что у нее общего с этим человеком?..

— Не знаю, — медленно ответил мистер Лэтам. — Но я все выясню до того, как он уедет в Лондон. Я не хотел ее ни о чем спрашивать, но если он запугал ее или грозит ей...

Миссис Лэтам всплеснула руками:

— Альфред, неужели... — Она запнулась, в глазах ее застыл ужас. — Помнишь... когда ее разбудил посыльный? Неужели она связалась с этими... нигилистами или еще какими-нибудь ужасными людьми?

— Я и сам не знаю, что думать. Быть может, этот человек вымогатель или какой-нибудь авантюрист. Но не будем спешить с выводами. Возможно, что его приезд пробудил в ней тяжелые воспоминания. Но мне тоже показалось, что она его боится.

На следующее утро Оливия спустилась вниз бледная, с опухшими веками. Отец и мать уже кончили завтракать и о чем-то разговаривали, стоя у окна. Увидев дочь, они замолчали.

— Извини, мама, я опять опоздала.

— Похоже, что ты снова плохо спала. Неужели опять головная боль?

— Да, немного. Пустяки.

Миссис Лэтам озабоченно посмотрела на Оливию, потом вздохнула и вышла из комнаты. Мистер Лэтам, барабанивший пальцами по стеклу, повернулся к дочери.

— Оливия, год назад я обещал ни о чем тебя не расспрашивать. Но сейчас я считаю своим долгом задать тебе один вопрос. Этот человек, который приходил сюда вчера, — твой друг?

Оливия дрожащей рукой поставила чашку на блюдечко.

— Что ты хочешь сказать, папа?

— Да только то, дитя мое, что я сказал. Твои тайны, раз уж ты их имеешь, меня не касаются, но я хочу знать только одно: этот человек — друг тебе или враг?

Оливия отвернулась и, припав к ручке кресла, закрыла лицо ладонями. Отец склонился над дочерью.

— Оливия, может быть, тебе нужна помощь? Не рассказывай ничего, скажи только одно: ты боишься этого человека?

Оливия вскочила с кресла.

— Нет! Нет! Он мой лучший друг! Но ты не понимаешь, не можешь понять!

— А разве ты дала мне такую возможность?

В голосе его не было упрека, но девушка опустила глаза. Ей впервые пришла в голову мысль, что она была жестока с родными.

Мистер Лэтам снова забарабанил пальцами по стеклу, мысленно упрекая себя в нечуткости. «Я только все испортил», — думал он. Вдруг он почувствовал, как руки Оливии обвили его шею. Он замер. Впервые с тех пор, как Оливия приехала, она приласкалась к нему.

— Папа... — Руки девушки задрожали на его плечах. — Папа, тебе... и маме я принесла лишь разочарование... Но так уж получилось. Я не могу рассказать тебе всего. Карол... Доктор Славинский — единственный человек в мире, который знает обо мне все. Если мне кто-нибудь и может

помочь, так только он, и никто другой. Прости меня... папа. Прошу тебя, не беспокойся обо мне. Очень жаль, что вам досталась такая дочь, как я. Но зато у вас есть Дженни.

Сердце мистера Лэтама сжалось. Он привлек к себе дочь и поцеловал ее. Ему хотелось сказать, что для него она в тысячу раз дороже, чем Дженни, но, хотя Оливия и попыталась вернуть ему поцелуй, он почувствовал, как она вздрогнула от невольного отвращения, и отпрянул, будто ужаленный.

— Да, — проговорил он отворачиваясь, — хорошо, что у нас есть Дженни.

Когда мистер Лэтам поднял глаза, Оливии уже не было в комнате.

Возвращаясь в воскресенье из церкви к обеду, миссис Лэтам и Дженни боялись застать дома ненавистного гостя. Однако мистер Лэтам сообщил им, что тот не приходил, а Оливия провела все утро в своей комнате. К обеду она спустилась, очень бледная, но с таким решительным выражением лица, какого они еще не видели.

— И долго еще пробудет твой друг в Хатбридже? — спросила Оливию миссис Лэтам, когда все поднялись из-за стола.

— Завтра он уезжает в Лондон.

— Он там живет?

— Я не знаю, где он поселится. Он только что приехал в Англию.

Миссис Лэтам тщательно свернула салфетку и как бы невзначай спросила:

— А он зайдет сюда перед отъездом?

— Я послала к нему утром Джимми Бэйта с просьбой провести этот день со мной.

Все были неприятно поражены. Наступило неловкое молчание. Его прервала Дженни, которая, выглянув в окно, с досадой сказала:

— Он уж тут как тут, вон идет по дорожке. Неужели все русские такие увальни и поднимают такую пыль?

— Дженни! Дженни! — укоризненно произнесла миссис Лэтам, бросив встревоженный взгляд на Оливию. Но та лишь заметила:

— Он не русский.

— Кто б он там ни был, но такой отвратительной походки я еще никогда не видела. Вот, я так и знала, что он споткнется о коврик! И, по моему, он не причесывался с тех самых пор, как...

— Перестань, Дженни, — перебил отец тоном, который Дженни не часто доводилось слышать, и повернулся к Оливии:- — Тебе, наверно, захочется поговорить с твоим другом наедине. После чая, когда мама

приляжет, Дженни и я уйдем и оставим вас одних.

— Спасибо, папа, — сказала Оливия, в то время как миссис Лэтам и Дженни удивленно переглянулись.

Потом все заговорили о другом, но атмосфера в доме была явно накалена. Дженни показывала гостю сад, не сводя с него блестящих настороженных глаз, и старалась не запылить свою юбку. Озадаченная и взволнованная хозяйка дома вставляла время от времени вежливые замечания, а ее муж курил и отмалчивался. Было страшно подумать, что мог представлять собой этот большой спокойный человек. Уж не социалист ли он? А может быть, что-нибудь похуже? Мистер Лэтам не любил крайностей, особенно если они исходили от небрежно причесанных иностранцев. Он уже начал подозревать, что какое-нибудь из этих «шалых учений» завладело его дочерью и сделало ее неузнаваемой. Но как он ни пытался помочь ей, он ничего не добился за пятнадцать месяцев, и не ему мешать другому — будь тот даже социалист. Больше того: мистер Лэтам был готов приветствовать даже учение анархистов, лишь бы оно вывело Оливию из состояния этой страшной подавленности.

К чаю, который подали в сад, пришел и кое-кто из друзей Дженни. По-видимому, их очень удивил недюжинный рост и простоватый вид Карола, но, так как он держался дружелюбно, они быстро освоились с ним и гораздо успешней, чем хозяйка дома, подбирали незамысловатые темы для разговора, доступные, по их мнению, пониманию этого добродушного, неискушенного гиганта. Оливия была необычайно оживлена и разговорчива, и отец, взглянув на Карола, понял, что тот заметил и это, и все остальное. «Похоже, что у него есть глаза и на затылке, — подумал мистер Лэтам. — Он видит, что эти люди настолько глупы, что принимают его за глупца. И он знает, что Оливия хочет, чтобы они оставались при своем мнении. Но он, кажется, заметил, что я слежу за ним».

После чая миссис Лэтам ушла в свою комнату. Дженни, по знаку отца, увела гостей к соседям, а сам он ушел с книгой в дом.

Карол придержал калитку, пока все дамы треща, как сороки, не вышли из сада, а потом вернулся к Оливии. Она сидела на скамье под цветущим каштаном и вертела в руках веточку, усыпанную ранними вишнями. В этот миг она показалась ему удивительно юной и похожей на Дженни. «Типичная англичанка», — подумал Карол. Ее лицо, поза, легкое летнее платье, аккуратно причесанные пряди густых каштановых волос удивительно гармонировали с безупречно подстриженным газоном и спокойной величавостью каштана. Чем дольше он смотрел на Оливию, тем беспокойней становилось у него на душе.

— Ну, дорогая, долго еще это будет тянуться? — спросил он наконец.

Рука, помахивавшая веточкой, замерла, потом опустилась и еще крепче сжала ветку. Посмотрев вокруг, Оливия швырнула ветку в траву. С куста сирени слетела зоркая малиновка и начала клевать ягоды, поглядывая на Оливию. Каждое утро птичку кормили крошками, и она стала совсем ручной.

— Разве не умница эта птичка? — спросила Оливия. — Пока есть люди, которые бросают ей вишни...

Она встала и прислонилась к стволу дерева. Ничто не изменилось в ее лице, только ноздри еще заметно подрагивали. Голос Карола, когда он заговорил, звучал совсем глухо.

— У меня мало свободного времени. Я приехал узнать, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен.

— Вот как? Я проделала путь подлиннее вашего, а зачем приехала, и сама не знаю. Помочь вы мне ничем не можете, разве только...

Голос Оливии замер. Карол подошел ближе.

— Разве только...

— ...поможете выправить паспорт.

— Ну и ну! — Больше он ничего не сказал, но, бросив быстрый взгляд на Карола, Оливия поняла, что он разгадал ее намерения. Она сжала руками горло.

— Меня преследуют призраки! Карол, я знаю, чем все это кончится. Я борюсь с ними, отгоняю их, но они приходят снова. В конце концов я не смогу противиться и сделаю это. Я не удержусь.

Она упала на скамью, пряча лицо.

Карол молча смотрел на малиновку, клюющую ягоды. Если б он не совсем понял Оливию, ему было бы легче ее утешить, но вся ее затея была настолько ребяческой, что он не находил слов. Бедняжка! Так отчаянно, так долго бороться с нелепой игрой воображения!

— Давайте все уточним, — произнес он наконец. — Вы хотите ехать в Россию под чужим именем, да? А деньги возьмете у родителей?

Скорченная девушка вздрогнула.

— Они ни в коем случае не должны знать! Подумайте, каким это будет для них ударом! Мне нужно исчезнуть.

— При желании все это не так уж трудно сделать. Но если вы ждете от меня помощи, то я должен знать, в чем именно. Не хотите сказать? Догадаться самому? Попытаюсь. Вы собираетесь кого-то убить. Кого же?

Она посмотрела на него широко раскрытыми, детски невинными глазами.

— Я сама не знаю. Я над этим не задумывалась.

Он положил ей руку на плечо.

— Подумайте. И хорошенько. Ошибка в таком деле недопустима, потому что вы погибнете, не успев исправить ее...

Голова Оливии медленно склонилась на грудь. Она с трудом перевела дыхание, и рука Карола крепче сжала ее плечо.

Вскоре девушка снова подняла голову.

— Не знаю. В мыслях у меня путаница. Не все ли равно, кого именно? Мадейского... или кого-нибудь еще. Все-таки это выход.

— Хорошо, уточним потом. Ответьте еще на один вопрос. Вас устроит любое оружие или только нож?

Она повторила, дрожа:

— Нож...

— Чтобы почувствовать, как он входит во что-то упругое, живое, и убедиться, что это не призрак?

— О Карол! Карол! Так, значит, вы все поняли!

С отчаянным криком она вскочила на ноги. Но Карол мягким движением заставил ее снова сесть.

— Бедное дитя! Не одной вам приходят в голову такие мысли.

Оливия разразилась бурными рыданиями, цепляясь за Карола, словно утопающая. Он прижимал ее к себе и гладил по волосам, как испуганного ребенка. С усмешкой вспомнил он все небылицы о загробном аде, которые придумали фанатики-богословы. Гроша ломаного не стоят их выдумки в сравнении с тем, что приходится терпеть здесь, на земле, да при этом еще молчать.

Когда рыдания Оливии смолкли и она в изнеможении прислонилась к дереву, закрыв рукой глаза, Карол начал осторожно ее расспрашивать. Мало-помалу она рассказала ему о своем страхе, ночных кошмарах, галлюцинациях, исчезающих картинах, тающих оболочках.

— Самое страшное то, что, когда Володя был жив, я отравляла ему жизнь сомнениями в целесообразности его политической работы. Я и сама не понимала толком своих сомнений, но мне казалось, он верит, что насилие надо отвечать насилием. Я считала это чудовищной несправедливостью, которая не может быть ничем оправдана. Я и сейчас так думаю. Насилие всегда несправедливо и всегда бессмысленно, я не верю, что оно может кому-либо помочь. День-деньской я твержу себе это, а когда ложусь спать, то полночи строю планы — как бы убить кого-нибудь, убить, убить...

Руки ее беспокойно шарили по платью. Карол легонько коснулся их, и

они сразу замерли.

— Я хочу кое-что уточнить, — сказал он. — Вы уверены, что вами руководит не чувство личной мести?

— Месть? Да какой в ней смысл? Никакая месть не вернет мне Володи.

— Значит, вам это нужно для того, чтобы избавиться от преследующих вас оболочек? Вы хотите уничтожить что-то осязаемое, осязаемое и убедиться, что перед вами упругое, живое тело? Так почему же обязательно русский чиновник? Попробуйте это объяснить.

— Не могу. Не знаю.

— И еще одно. Вы сказали, что были у врача в Лондоне. Вы рассказали ему об этих оболочках?

— Нет, нет, как вы могли подумать такое? Карол, а вам не кажется, что я... схожу с ума?

Глаза ее расширились от ужаса.

— Нет, не кажется. Я считаю, что вы перенесли очень тяжелое заболевание и теперь выздоравливаете. Что же касается вашего намерения убить кого-нибудь, то не станем этого обсуждать, пока вы окончательно не поправитесь. Если через полгода планы ваши не изменятся, я готов вам помочь. А до тех пор нам нужна ваша помощь в одном деле. В Лондоне у меня есть больная с тяжелыми послеродовыми осложнениями. Она нуждается в безупречном медицинском уходе. Не возьмете ли вы этот труд на себя?

Оливия отпрянула.

— Все что угодно, только не это! С уходом за больными навсегда покончено.

— Дело ваше, но, признаться, вы меня огорчили: я рассчитывал на вас. Эта женщина имеет отношение к работе, для которой Володя не пожалел бы жизни. Потому-то я и полагал, что вы ни в коем случае не откажетесь.

— Что это за работа?

— Оказание посильной помощи крестьянам, которые покинули родину, спасаясь от религиозных преследований. Дело в том, что в Польше и Литве многие набожные крестьяне исповедуют униатскую веру<sup>[17]</sup>, а царское правительство принуждает их принять православие. Те, которым удалось уцелеть и не принять православие, бежали в Америку. Но в пути многие заболели, и им пришлось остаться в Лондоне. Незадолго до ареста Володя организовал в помощь этим голодающим беженцам тайный сбор пожертвований среди петербургских студентов и рабочих.

— А при чем тут больная с послеродовыми осложнениями?

— Мужа этой крестьянки за отказ принять православие сослали в Сибирь. Если она умрет, двое ее детей останутся круглыми сиротами. Потому-то я и стараюсь найти такую сестру, которая могла бы ее спасти. Надо сказать, что с этими людьми трудно иметь дело. Они говорят только по-литовски (язык этот здесь никто не понимает), нечистоплотны, невежественны и обезумели от страха. Они так привыкли к дурному обращению, что, если кто-нибудь к ним добр, они подозревают ловушку.

— Когда я вам нужна?

— На будущей неделе.

— Хорошо, я приеду.

— Завтра я еще зайду к вам, и мы договоримся обо всем поточнее. А теперь мне пора, надо писать письма. До свидания.

Карол пожал ей руку с таким видом, словно не произошло ничего особенного, — встретились и поболтали о пустяках. Потом он ушел, а Оливия медленно осмотрелась вокруг. Яркие краски заката померкли. В сгущавшихся сумерках она была совсем одна, но не боялась: раскрашенные оболочки исчезли.

## ГЛАВА IV

На следующий день, когда мистер Лэтам вернулся домой из банка, он застал в гостиной жену, Дика и Дженни. Они готовили подарки школьникам.

— Папа, — сразу объявила Дженни, — он опять был здесь.

— Друг Оливии?

— Да. Она ушла с ним гулять.

— Не понимаю, почему вы относитесь к нему с такой неприязнью, — вмешался Дик. — Сегодня утром я встретился с ним, когда он шел из Хатбриджа, и мы разговорились. Он первый человек, сумевший разъяснить мне суть биметаллизма<sup>[18]</sup>.

— И больше вы ни о чем не говорили?

— Почему же, говорили. Например, о тред-юнионах, жилищном строительстве, простейших животных организмах, подоходном налоге, сельском футбольном клубе. Он человек с головой, это бесспорно.

Дженни широко раскрыла глаза. Ей и в голову не приходило, что Карол может оказаться интересным собеседником. Миссис Лэтам промолчала, но, оставшись с мужем наедине, сейчас же заговорила о том, что ее волновало:

— Альфред, я уверена, этот человек знает, отчего так изменилась Оливия.

— Возможно.

— В общем, он производит не такое уж плохое впечатление. Я думаю, он сказал бы тебе, что именно...

— Вероятно, он ничего не скажет без согласия Оливии, да я и сам не стану добиваться этого.

— Альфред, я вовсе не толкаю тебя на неблагоприятные поступки, но сама справедливость требует, чтобы тайна наконец разъяснилась. Это противоестественно, когда родители ничего не знают о собственной дочери. Сегодня вечером он уезжает в Лондон. Я надеюсь, тебе удастся что-нибудь выведать у него, пока он здесь.

Мистер Лэтам ушел в свой кабинет, испытывая знакомое чувство отчужденности и едва уловимой гадливости.

«Бедняжка, — думал он, — как она терпелива и добра и как преисполнена чувства долга. Тем не менее она же, полная уверенности в собственной правоте, советует ему вкрасься в доверие к гостю и выпытать у него тайну их дочери. Бесплезно объяснять ей, что его тошнит от одной мысли об этом, она никогда не поймет почему. Дженни, в общем славная девушка, тоже не отличается особой щепетильностью в мелочах. Еще когда она была ребенком, он поймал ее на плутовстве в крокете. Правда, больше этого не случилось, но сейчас он с неприятным чувством вспомнил о ее поступке. Из трех столь дорогих его сердцу женщин одна Оливия не была запятнана этими как будто невинными, но невыносимыми для него мелкими недостатками. И тем не менее, находишь она за тысячу километров от него, он не был бы от нее дальше, чем теперь, когда она окружила себя неприступной стеной молчания. Он сел к столу и закрыл лицо руками, но тут же нетерпеливо выпрямился, услышав стук в дверь».

— Войдите.

То был Карол.

— Не можете ли вы уделить мне несколько минут? Я хотел бы перед оездом в Лондон поговорить с вами.

— Прошу, — с натянутой любезностью ответил-мистер Лэтам. — В чем дело?

Карол неторопливо, как всегда, придвинул к себе стул.

— Я разговаривал с мисс Лэтам, и она просила меня объяснить вам кое-что. Прежде всего я должен рассказать о том, что...

Мистер Лэтам поднял руку.

— Позвольте! Значит ли это, что вы пришли ко мне по просьбе моей

дочери? Я не хочу ничего знать о ее тайнах, разве только она сама выразила желание посвятить меня в них. Но и в этом случае, мне кажется, Оливия должна бы сделать это сама.

— У нее нет тайн, но она перенесла тяжелое нервное потрясение и до сих пор не в силах сама говорить о его причине. Поскольку я в то время был с ней и все знаю, она пожелала, чтобы я изложил вам суть дела и попросил вас в дальнейшем никогда не заговаривать с ней об этом.

Мистер Лэтам, закрыв лицо рукой, молча выслушал Карола, который рассказал ему о страданиях дочери в нескольких скупых, сжатых фразах.

— А теперь, — продолжал Карол, — надо подумать о ее будущем. Вы видите, что физически она уже почти оправилась, а что касается ее душевного состояния, то оно тоже приходит в норму, хотя и гораздо медленнее. В своей практике мне уже приходилось сталкиваться с подобными случаями, и я знаю, что чем скорее она оставит дом и вернется к работе — тем лучше. Она взялась выхаживать одну из моих лондонских пациенток, и, когда эта работа закончится, я найду для нее другую. Если вы доверите мне Оливию на несколько месяцев — надеюсь, я ее вылечу. Но для этого вы должны на некоторое время расстаться с нею.

— Как, совсем не видеться?

— Не видеться и не писать ей. Если вы мне не доверяете, посоветуйтесь с вашим домашним врачом. Он вам тоже скажет, что обстановка, которую создают вокруг Оливии обеспокоенные родственники, не идет ей на пользу.

Мистер Лэтам долго молчал.

— Не легко мне согласиться на это, — проговорил он наконец, — но я не имею права вам отказать. Очевидно, благодаря вам Оливия не лишилась тогда рассудка, а может быть, и жизни.

— Едва ли. В ту ночь она, вероятно, и сама вернулась домой бы, но, пожалуй, это было попросту невозможно. Петербург не совсем подходящее место для человека, переживающего моральный кризис, тем более для одинокой женщины, да еще ночью.

Вечером мистер Лэтам поднялся к Оливии.

— Дитя мое, я знаю, ты хочешь на будущей неделе ехать в Лондон. Я обещал твоему другу, что в ближайшие три месяца никто из нас не станет тебя беспокоить, разве только ты сама пожелаешь с нами увидеться. Помни, что мы всегда рядом, и... возвращайся домой, как только сможешь.

Оливия заговорила тихо и сбивчиво, сплетая и расплетая пальцы:

— Отец... ты был так терпелив со мной. Я знаю... я все понимаю. Но не могу об этом говорить. Пожалуйста, не рассказывай ни о чем маме. Она

станет плакать, а я...

— Не беспокойся, моя девочка. Я никогда ничего не рассказываю маме.

Впоследствии Оливия не раз с благодарностью вспоминала, как отец вышел из комнаты, не проронив ни одной лишней фразы, не пытаясь даже приласкать ее. В тот день зародилась их настоящая, близкая дружба.

Мистеру Лэтам не удалось, конечно, оградить Оливию от расспросов и ахов Дженни и миссис Лэтам. Возможно, что неблагоприятное воздействие, оказанное на Оливию поднятой ими суматохой, примирило его до известной степени с отъездом дочери.

Карол, встретивший Оливию на вокзале, сразу понял, что за последнюю неделю ей стало опять хуже. Руки снова дрожали, в глазах появилось испуганное выражение.

— Лучше скажите мне сразу всю правду, — попросила она его на следующий день, — я, кажется, не в своем уме? Должна же я это выяснить, прежде чем браться выхаживать больных. Не бойтесь, говорите прямо, что бы там ни было, истерики я не устрою.

Взгляд Карола смягчился.

— Вы принадлежите к числу больных, которым всегда говоришь правду. Думаю, что вы были близки к этому и, возможно, действительно сошли бы с ума, если б, по счастью, не обладали гораздо более уравновешенной натурой, чем у большинства людей. Но в настоящее время всякая опасность миновала, в этом я твердо убежден. Больше вас не будут преследовать эти оболочки; раз вы нашли в себе мужество говорить о них, они больше не появятся. А теперь сосредоточьтесь на работе и ни о чем другом не думайте. Надо вызволить из беды несчастную женщину, а это не легко.

О том, что Оливия была одержима мыслями об убийстве, Карол не упомянул. Он знал, что через несколько месяцев она забудет об этом, а если и вспомнит, то с таким чувством, с каким выздоровевший человек вспоминает мучивший его во время болезни бред.

Когда литовская крестьянка выздоровела, Карол попросил Оливию присматривать за ребенком, заболевшим корью, потом появился больной-ревматик, затем рабочий, пострадавший от несчастного случая на сахарной фабрике. Все больные были иностранцами, они жили в беднейших кварталах Лондона, едва сводя концы с концами. В большинстве случаев это были либо польские и литовские крестьяне, которых нужда или религиозные преследования вынудили бежать с родины, либо евреи из гетто, корпевшие за мизерную плату в портновских мастерских.

— Как случилось, что вы стали заниматься врачебной практикой в Лондоне? — спросила однажды Оливия Карола. — Я думала, вы приехали всего на несколько недель.

— А я и не практикую. Я приехал совсем по другому делу. Но эти люди, узнав, что я врач, стали обращаться ко мне за помощью.

— А по какому же делу вы приехали?

— Я взялся за издание польской газеты, которая будет печататься здесь и переправляться контрабандой через границу. Из-за царской цензуры в Польше ее издавать невозможно.

— Значит, теперь вы обосновались здесь и некоторое время поживете в Англии?

— Мне нельзя возвращаться в Польшу.

Тон, которым он произнес эти слова, заставил ее насторожиться.

— Вы хотите сказать, что вообще не вернетесь на родину? Значит, теперь вы эмигрант?

Карол отвернулся. Лицо его стало непроницаемым.

— Рано или поздно это должно было случиться. Мне еще повезло, раз я сумел продержаться так долго.

— Карол, мне бы очень хотелось, чтобы вы были немножко откровенней со мной. У меня в жизни не осталось ничего, чем бы я по-настоящему дорожила, кроме... работы и друзей Володи, к которым он был привязан. У меня такое чувство, будто кругом меня ночь, а я все время одна, одна в этом мраке... Мне кажется, если бы вы побольше вовлекали меня в свою работу, я избавилась бы от страха. Не рассказывайте того, что нельзя, но мне так хочется понять смысл вашей деятельности..

Карол продолжал смотреть в окно. Потом повернулся к Оливии.

— А вы согласились бы помогать мне? Я не управляюсь со своей работой, и если бы кто-нибудь помогал мне читать гранки и подбирать в читальном зале Британского музея материал для газеты — это было бы как нельзя более кстати. Мне...

Карол остановился и снова посмотрел в окно. — Видите ли, мне иногда трудно ходить... и вообще много двигаться.

Оливия с удивлением посмотрела на него. Из всех ее знакомых он казался ей самым деятельным.

— Я сделаю все, что смогу, — с некоторым сомнением произнесла она. — Но расскажите, как же случилось, что вам пришлось...

— Бежать? А вот как. С тех пор как меня освободили, я стал одним из организаторов революционного движения среди польских рабочих. Чтобы заниматься этой деятельностью, не навлекая на себя подозрений, мне надо

было убедить русских, что я навсегда отказался от политики. Тогда они перестали бы следить за мной и это развязало бы мне руки. Я так и сделал, после чего мне разрешили жить в польских городах и даже иногда приезжать в Петербург. Само собой разумеется, в Петербурге я никогда не посещал тех, кто состоял на подозрении у властей, за исключением, конечно, Володи. Полиция решила, что я навсегда порвал с прошлым и превратился в безобидного провинциала, посвятившего себя науке. Губернатор Вильно даже как-то сказал мне, что он-де не сомневался в том, что Акагуй послужит мне хорошим уроком.

— А теперь они все-таки докопались до истины?

— Да, и весной мне пришлось бежать. Все мои карты биты. Теперь я представитель нашей партии в Лондоне. В мои обязанности входит издание здесь газеты, помощь нашим беженцам и тому подобное. У нас есть свой рабочий клуб, школа и библиотека. Со мной вместе работает небольшая группа образованных молодых людей — главным образом это студенты польских университетов. Есть у нас и несколько специалистов, например, один отставной адвокат из Варшавы. Все они живут здесь и оказывают нам посильную помощь. Я познакомлю вас с ними, и вы получите более полное представление о нашей работе. А тогда уж сможете решить — хотите ли вы принимать в ней участие. Если да, то придется изучать язык.

— А что вы имели в виду, сказав, что вам трудно ходить?

— Да так, пустяки, некоторая скованность движений. При моей занятости она мне несколько мешает. Так, значит, ваш отец приезжает завтра?

Условленные три месяца прошли, и мистер Лэтам прислал коротенькое письмо, в котором писал, что собирается приехать в Лондон.

Ему было тяжело ждать целых тринадцать недель, но, увидев, как изменилась за это время Оливия, он понял, что согласился на разлуку не напрасно. Правда, выражение ее лица стало, пожалуй, еще более трагическим, чем в самую тяжелую пору ее жизни дома, и нельзя было без боли видеть морщины на молодом лице, но зато оживился недавно потухший, обреченный взгляд.

— Потерпите еще немного, — сказал Карол, — она приходит в себя быстрее, чем я смел надеяться, но пройдет еще несколько месяцев, прежде чем восстановится ее душевное равновесие.

Мистер Лэтам вздохнул.

— Бог свидетель, я терпелив. Не сомневаюсь, что вы можете ей помочь, а я нет. Мне только и остается, что полностью довериться вам. Если б только она немножко повеселела. У нее сейчас еще более

несчастный вид, чем раньше.

— Этому помочь нельзя. Нелегко возвращаться к жизни, когда все тело сковано ледяным холодом. Но она усердно работает, и наступит день, когда в ней проснется и интерес к своему делу.

Карол не сказал, когда наступит этот день. Было ясно, что и сама Оливия старалась сосредоточить все мысли на работе. Обязанности своей девушка выполняла добросовестно, с неутомимым усердием, не щадя сил. Но она не черпала в работе ни интереса, ни радости. Оливия напоминала лошадь в упряжке, которая видит лишь тот отрезок пути, что стелется прямо перед ней; она охотно подчиняется мудрой руке, натягивающей вожжи, и рада, что спасительные шоры заслоняют от нее придорожные канавы, где прячутся во тьме страшные призраки.

Утомительные обязанности, заботы, ужасающие картины человеческого горя, с которым ей приходилось повседневно сталкиваться, так изматывали Оливию за день, что у нее не оставалось сил ни на что другое. Она жила словно с повязкой на глазах; проходили месяцы, и, хотя все это время Оливия жила бок о бок с Каролом — они вместе работали, читали, лечили больных, правили гранки, — она ни разу не заметила, что тень смерти витает над ним.

— А в новом году, когда увеличится тираж газеты, вы останетесь редактором? — спросила она его однажды.

— Если еще буду здесь.

— Но я полагала, что вы намерены остаться здесь навсегда.

— Я никогда не загадываю на будущее.

Мистер Лэтам навещал Оливию каждый месяц, а на Новый год она уехала домой.

— Вы теперь совсем поправились, и встреча с друзьями пойдет вам только на пользу, — сказал ей Карол. — Надо надеяться, что и они не будут разочарованы.

У миссис Лэтам гора спала с плеч: исчезла страшная незнакомка, один вид которой повергал ее в ужас, и вернулась настоящая Оливия. Правда, она казалась старше своих лет и выглядела не очень счастливой, но была прежней — приветливой, расторопной, самоотверженной. Когда миссис Лэтам поделилась впечатлениями с мужем, он, не ответив, уткнулся в книгу. А Дженни задумчиво нахмурила лобик.

— Я не совсем в этом уверена, мама. Ее ничто не радует. Людям, которые ко всему безразличны, легко быть самоотверженными, потому что во всем мире нет ничего, чем бы они дорожили.

Брови мистера Лэтама, заслонившегося книгой, поползли вверх.

Похоже, Дженни начала умнеть.

— Несомненно, мы должны быть ему благодарны, — сказал он как-то Дику. — Оливия здорова телом и душой, с увлечением работает и занята полезным делом. Но то, что с ней произошло, загубило ее молодость. Она стала похожа на пожилую женщину, а ведь ей еще нет и тридцати.

За исключением Карола Дик был единственным человеком, с которым мистер Лэтам говорил об Оливии. С тех пор как он узнал о любви священника к его старшей дочери, он считал его как бы своим сыном. Он понимал, что прежнее преклонение перешло теперь в нежное и печальное воспоминание о том, какой была Оливия когда-то, но это казалось ему вполне естественным и не омрачало его отеческих чувств к Дику. Оливия, думал он, до конца своих дней будет безраздельно принадлежать тому миру, о котором Дик знает лишь одно — что он оставил неизгладимый след в душах Оливии и Карола. После всего пережитого даже собственный отец должен казаться ей седовласым ребенком.

После недолгого отдыха Оливия вернулась в Лондон к своей работе. Когда отец, отвозивший ее на станцию, спросил, приедет ли она на воскресенье домой, Оливия, опустив глаза, некоторое время колебалась.

— Пожалуй, мне не следует часто приезжать домой. Я понимаю, что нельзя быть такой неблагодарной, когда все вы так добры ко мне...

— Если тебе, дорогая, тяжело бывать дома...

— Дело совсем не во мне. Я думаю о маме. Лучше ей видеть меня пореже.

— Что ты! Она всегда так рада тебе!

— Я знаю. Но она разочаруется, если будет видеть меня чаще.

— Ты думаешь, она увидит, какой ты стала на самом деле, и поймет, что ты ей почти чужая? Не бойся этого, моя девочка, тебя не так-то легко разгадать.

— Она не разгадает меня, это верно, но она увидит во мне что-то ей непонятное, и это ее встревожит. Она и Дженни счастливы вместе, и мой приезд только нарушает гармонию. Некоторые испытания оставляют на человеке неизгладимый след, ну как если бы в нем была примесь негритянской крови, и это отталкивает окружающих.

— Всех?

— Только не тебя, папочка, я знаю.

— И на том спасибо. Я ведь не принадлежу ни к их, ни к твоему лагерю, а болтаюсь где-то посередине.

— Папочка...

Пальцы Оливии коснулись ладони отца.

Губы мистера Лэтама дрогнули, когда он посмотрел на ее руку. Сколько пришлось пережить бедняжке с тех пор, как эти самые пальцы положили желудочные таблетки возле его тарелки.

— А тебе никогда не приходило в голову, дитя мое, что ты дочь неудачника, и притом такого, который отдает себе в этом отчет? Окружающих отталкивают не испытания, через которые прошел человек, а его неспособность с ними справиться. Когда-то и я думал прожить жизнь с толком, а не впустую.

— И что же?

— А то, что я женился на твоей матери. Немного помолчав, он продолжал:

— И потому ты и твои друзья, которые делают полезное дело, олицетворяете для меня не только то, что мне дороже всего на свете, но и то, чем я сам мог бы стать. Сегодня мне нечем похвастаться, но и я родился в Аркадии.

Он замолчал, увидя на глазах дочери слезы. Но она быстро смахнула их.

— Не завидуй нам, папочка. В наше время Аркадия не самое счастливое место на земле. Одни только фабрики да кладбища, и каждый день хлещет проливной дождь.

## ГЛАВА V

Оливия и отец хорошо понимали друг друга, и им не было надобности возвращаться к разговору, состоявшемуся по дороге на станцию. Но то, что разговор этот произошел, и особенно уверенность, что он никогда больше не повторится, сблизило их еще больше.

Мистер Лэтам приезжал теперь в Лондон очень часто, и, когда у Оливии находилось свободное время, они подолгу гуляли или бродили по музеям и выставкам. Иногда оба молчали, а иногда оживленно разговаривали обо всем, что их интересовало. Мистер Лэтам понимал без слов, что эти прогулки были единственной отрадой в жизни его дочери.

Но Карол не знал радости общения с близкими. Он замкнулся в железном молчании и в одиночестве ждал свершения судьбы. Лишь иногда возле рта у него залегали скорбные складки, и сердце Оливии, украдкой следившей за Каролом, сжималось от жалости.

— Только теперь я по-настоящему поняла, что значит жить в изгнании, — сказала она как-то мистеру Лэтаму. — Родина заменяла ему отца и мать,

жену и ребенка, и вот теперь он навсегда ее лишился.

Ей и в голову не приходило, что над Каролом нависла совсем другая беда, а о той, которую она считала причиной его скорби, она не смела с ним заговаривать.

На безрадостные улицы пришла поздняя, холодная весна, а за ней дождливое, пасмурное лето. Оливия уже целый год работала с Каролом. «И так будет из года в год», — думала она. Они станут работать бок о бок — два неутомимых труженика — в мире, где не светит солнце, не поют птицы.

Как-то дождливым осенним днем Карол с Оливией возвращались из Британского музея к ней на квартиру. Все утро оба проработали в читальном зале, подбирая материал для статьи Карола об антисанитарном состоянии польских фабрик. Переходя Оксфорд-стрит, Карол споткнулся, подался неловко вперед и тяжело рухнул на мостовую. Извозчики на козлах заухмылялись, а две проходившие мимо цветочницы обронили презрительные замечания.

— Вы не ушиблись? — спросила Оливия, когда Карол медленно и неуклюже поднялся с земли. Пряча от нее лицо, он наклонился, чтобы счистить с одежды грязь.

— Нет, нисколько, благодарю вас. Я наступил на что-то скользкое.

Оливия посмотрела на мостовую, но она была безупречно чиста.

— Наверно, у вас в башмаке гвоздь... — начала было она, но, увидев лицо Карола, сразу умолкла.

— Карол, вы сильно ушиблись, я же вижу.

— Немножко. Сейчас все пройдет.

Некоторое время он был очень бледен, но, как всегда, спокоен и, придя на квартиру Оливии, сейчас же приступил к хронологической раскладке собранных материалов. Оливия разожгла камин, так как к вечеру стало холодно, и принялась читать гранки. До самого ужина оба молчали. Обернувшись, чтобы пригласить Карола к столу, Оливия с удивлением увидела, что он не работает. Выражение его лица встревожило девушку, и она несколько минут молча наблюдала за Каролом. Собравшись с духом, Оливия наконец произнесла:

— Карол, скажите мне, что случилось.

Он быстро поднял голову.

— Ничего. Просто я обдумывал кое-какие детали. Кстати, если Марцинкевич возьмет на себя обязанности редактора, вы будете продолжать работу?

— А вы хотите отказаться?

— Да, и притом скоро. У Марцинкевича есть некоторый опыт

редакционной работы, он вполне справится. По правде говоря, мне придется уехать, как только партия пришлет мне замену.

— Уехать на время или навсегда?

— Навсегда. Я с самого начала смотрел на работу в Лондоне как на временную.

Когда Оливия снова заговорила, звук собственного голоса показался ей чужим и далеким.

— А когда вы намерены уехать?

— Я еще не решил. Через месяц-другой.

Он встал и спокойно расправил плечи. Оливия не шевельнулась. Дыхание ее участилось, в ушах стоял звон. Легкость, с какой он сообщил ей о своем отъезде, была равносильна пощечине.

— Я и не предполагал пробыть здесь так долго, — продолжал он. — Работа теперь налажена, и меня особенно радует, что вы еще при мне освоились с ней. Теперь вы в курсе всех наших дел и в помощи не нуждаетесь. Трудно только начать.

— И... приспособиться. Помните, вы говорили мне об этом в Петербурге? Вы даже назвали срок — два-три года. С тех пор прошло уже два с половиной года. И перед тем как мы навсегда расстанемся, я хочу вам сказать, что сейчас мне не легче, хоть я и приспособилась.

Оливия стала заваривать чай. Карол терпеливо ждал, пока она заговорит снова, ведь он никогда не спешил с объяснениями.

— Возможно, я слишком требовательна, — заговорила Оливия, кладя на стол ложечку. — Но, с другой стороны, у каждого из нас только одна жизнь, и я не хочу расставаться со своей, не будучи твердо уверена, что отдаю ее за что-то стоящее. Поймите, я готова на любые жертвы, если только конечная цель стоит этих жертв; но я хочу видеть смысл в том, что мы делаем, хочу знать: во имя чего жертвуем мы своими жизнями. — Рука ее, касавшаяся подноса, задрожала. — Если б только я была уверена, что, умирая, Володя верил: дело, за которое он отдал свою жизнь, в конце концов победит... Нет, я не о нем хочу сейчас говорить. Лучше поговорим о нас и нашей работе, то есть о вещах вполне реальных. Мы с вами уже прошли через то, что уговорились называть выучкой, и, в итоге издаем небольшую рабочую газетку. Не говорите мне того, что я и сама знаю: у нас великолепная газета, в ней печатается первоклассный материал, и ее влияние весьма значительно. Но стоит ли это тех жертв, которые мы принесли?

— Вспомните, — начал Карол, оседлав стул и кладя руку на его спинку, — что сказал Эпиктет о салате: стоит он всего одну медную

монетку, но, если вы хотите есть салат, вы должны эту монетку заплатить. Люди не хотят понять, что цена на салат может подняться в неурожайный год до трех монет, а сам салат, несмотря на дороговизну, может быть хуже обычного. Вас мучит проблема какой-то абстрактной, внежизненной справедливости: вы хотите, чтоб мир был спасен за сходную для вас цену. Так не бывает: цена зависит от времени и места. Я не отрицаю, что... — Он запнулся и, понизив голос, договорил: — что цена может быть и непомерно высокой.

Оливия безнадежно уронила руки.

— Ну и что же? Неужели вы думаете, меня смущает сама цена? Все, что вы мне сейчас сказали, сводится К одному: отдайте кесарю кесарево. Я и сама это знаю, и меня волнует не медная монета, и не три монеты, и не то, какая на этой монете чеканка. Но в мире столько мелких кесарей, и каждому из них приходится отдавать лепту особой монетой.

— Да? — переспросил Карол, вставая и облокачиваясь о каминную полку. — Продолжайте. Что же получается в конце концов?

— Вот об этом-то я и хочу вас спросить. Что? Он молчал.

— Вот, например, вы, — после длительного молчания продолжала Оливия. — Вы вспоминаете Акатуй...

Жесткие складки у рта Карола обозначились еще резче.

— Нет, — сказал он, — я никогда не вспоминаю этого, разве только случайно.

— Все равно, пусть случайно. Так вот, я считаю, Акатуй был вашей лептой.

Медленно вздохнув, Карол ответил:

— Частично.

— А где ваш салат?

Он заслонился ладонью от огня в камине.

— Если человек должен пожертвовать жизнью или чем-нибудь не менее для него дорогим, он имеет право знать: чего же ради? — задумчиво и неумолимо продолжала Оливия. — Это вопрос соотношения ценностей. Есть ли в мире что-нибудь равноценное жизни и счастью человека? Взять хотя бы этот случай во время коронации в Москве<sup>[13]</sup>. В давке, когда толпа устремилась за царскими подарками, погибли сотни мужиков. По сути дела, они поплатились жизнью ради несвежей колбасы и оловянных кружек с портретом царя. А вечером был бал, и царь с супругой преспокойно танцевали на нем и, как говорится, даже в ус не дули. Но, может быть, с точки зрения русских, это достаточная цена за их жизни? А по-вашему, грядущие поколения смогут сказать про нас с вами, что мы ценили свои

жизни дороже?

Заложив руки за спину, Карол зашагал по комнате, мысленно спрашивая себя, когда же наконец кончится это страшное душевное напряжение и выдержит ли он, если оно продлится еще хоть пять минут? В памяти его странным образом ожила давно забытая картина. Когда во время первого заключения его вели на допрос, из комнаты следователя вышел юноша и упал в припадке истерии на пол. Один из жандармов сказал другому:

— Видно, генерал нынче допрашивает с пристрастием.

Тогда Карол с тревогой спросил себя, не может ли и он вот так же потерять самообладание. Сейчас его это, к счастью, не страшит: он достаточно вышколен.

В голосе Оливии послышались жесткие нотки:

— Раз вы собираетесь уехать навсегда, значит, мы больше не увидимся?

— Вполне возможно.

— Тогда, прежде чем оставить меня совсем одну, скажите хоть раз в жизни всю правду: лично вы удовлетворены тем, что получили за свою монетку?

Карол резко повернулся к ней, губы его совсем побелели.

— Может быть, то, что я получил, не блещет великолепием и новизной и не стоит той цены, которую я заплатил, но из всего, что я мог получить, — это самое лучшее. И если бы вы поговорили с теми мужиками, они сказали бы вам, что колбаса, даже несвежая, для них роскошь, которую они видят далеко не каждый день.

Теперь побледнела Оливия.

— Понимаю, — глухо произнесла она, с трудом переводя дыхание.

У Карола было такое чувство, словно сорвали покров с потаеннейших уголков его души. Он тут же окунулся с головой в свою статистику. Никто не имеет права обнажать его душу, даже любимая.

— Так, значит, за последние три года смертность в Лодзи...

Оливия снимала чайник с огня.

— Статистика смертности в Лодзи в моих вчерашних выписках. Сейчас разолью чай и достану их.

На следующий день они были все время на людях, а к вечеру приехал мистер Лэтам и уговорил Оливию провести субботу и воскресенье в Хатбридже.

Приехав в понедельник в Лондон, она сразу поспешила в издательство за очередным заданием на день. Помощник редактора, Марцинкевич,

встретил ее с озабоченным видом. Однако он ничего не сказал, и, поскольку в комнате были посторонние, Оливия ограничилась вопросом:

— Доктор Славинский здесь?

— Ему пришлось выехать по делу за границу. Он оставил список литературы, которую вам надо просмотреть, и просил передать, что вернется через две недели.

Каролу не раз приходилось неожиданно уезжать, и Оливия, считавшая эти внезапные поездки неотъемлемой частью его работы, ничего не сказала и приступила к делу. Расстроенный вид помощника редактора она объяснила тем, что отъезд Карола был вызван дурными новостями. «Наверно, его послали во Францию или Швейцарию уладить что-нибудь», — подумала она.

Когда через десять дней Оливия принесла в издательство законченную работу, она застала там Марцинкевича и одного партийного товарища, недавно присланного в Лондон. Марцинкевич читал вслух какое-то письмо.

— А я собирался послать за вами, миссис Лэтам. Пришло письмо от доктора Славинского. Для вас есть кое-какие поручения.

— Он скоро вернется?

— Боюсь, что нет. Он ранен.

— Ранен?

— Да. Ему пришлось отправиться на русскую территорию, разумеется, нелегально. Когда он возвращался в Австрию, русские пограничные патрули обстреляли и ранили его. Ему все-таки удалось уйти от них, но после этого он слег. И не может выехать...

— Славинский переходил границу ночью, с контрабандистом?

— Да. Один из местных евреев провел его за плату.

— А теперь Славинский в Австрии?

— В Галиции, в Бродах. Я прочту вам, что он пишет: «Все улажено...» — нет, не то, здесь о делах. Вот, нашел: «Патруль заметил нас, когда мы уже ступили на австрийскую землю, и открыл огонь. В меня угодили только один раз, но пуля раздробила правую берцовую кость. Контрабандист мой вел себя безупречно. Он нашел знакомых среди австрийских патрулей и убедил их не замечать нас, а когда тревога стихла, умудрился раздобыть где-то телегу и водрузил на нее меня. Ему удалось доставить меня в Броды, но ехать дальше я не в состоянии. Попросите, пожалуйста, миссис Лэтам проследить за тем, чтобы дифтерийный ребенок на Юнион-стрит дважды в день полоскал горло, мать его несколько легкомысленна. Больной под номером пятнадцать лучше перейти на амбулаторное лечение в лондонскую клинику. Если с Уайтчепл-роуд придет

ответ на мой запрос о глухонемом мальчике...» Дальше я не могу разобрать, видно, у него дрожала рука. Билинский, может, вы разберете?

Пока они пытались разобрать письмо, пришла телеграмма. Легкий взглас сорвался с губ Марцинкевича, когда он прочел ее.

— В чем дело? — спросил Билинский.

Марцинкевич передал телеграмму Оливии. Она была из Бродов. «Славинский тяжело болен. Заражение крови. Просим кого-нибудь приехать».

Оливия молча вернула телеграмму.

— Заражение крови, — повторил Билинский. — Значит, он может умереть. И все из-за какого-то дурацкого патруля, стрелявшего наугад в темноте. Ужасное невезение.

— Иезус-Мария! — вскричал Марцинкевич. — А вы бы хотели, чтобы он выжил? Нет, уж пусть лучше умрет от пулевого ранения, для него это лучший исход.

Оливия резко вскинула голову. Ее пронизала дрожь.

— Как понимать ваши слова? — спросил Билинский.

— Да разве вы не знаете, что у него появились первые признаки общего паралича? Неужели вы не заметили, как он странно стал ходить в последнее время? Состояние его безнадежно: самое для него лучшее погибнуть сразу от какого-нибудь несчастного случая.

Билинский отшатнулся.

— Общий паралич? Уж не имеете ли вы в виду двигательную атаксию?

— К сожалению, нет. Двигательная атаксия в ряде случаев довольно быстро заканчивается смертью. А болезнь Славинского такая дьявольская штука, что он может дотянуть до девяноста лет, беспомощно лежа на спине и постепенно окаменевая.

Марцинкевич яростно скомкал телеграмму.

— Мать божья! И подумать только, что такая участь постигла именно Славинского! Его, который работал не покладая рук еще со школьной скамьи! Говорят, это и послужило причиной его болезни.

— Переутомление?

— Всего понемногу — стужа, голод, крайнее утомление. Чему удивляться? Он побывал в Акатуе, а это никому не проходит даром. Люди возвращаются оттуда ослепшие, с туберкулезом, эпилепсией, с каким-нибудь видом безумия, а то и с общим параличом. А Карол перенес там еще и длительную голодовку. Железный организм и тот не выдержал бы.

— Но голодовка была десять лет тому назад. А когда началось

заболевание?

— Болезнь развивалась очень медленно. Он говорит, что еще в Акатуе подметил, как плохо гнутся у него го-ленно-стопные суставы. Но тогда он не придавал этому значения. Ему и в голову не приходило, что у него что-то не в порядке. Первые подозрения появились два или три года тому назад, зимой. Помните, как поспешно он собрался в Петербург, потому что разрешение на въезд пришло раньше, чем он ждал? В Петербурге он заметил, что, поднимаясь по лестнице, спотыкается. Это ему не понравилось, и он решил проконсультироваться с доктором. Но мисс Лэтам может рассказать вам все лучше, чем я, она ведь была в то время в Петербурге.

Собеседники повернулись к Оливии. Она не шелохнулась. Когда девушка заговорила, голос ее звучал ровно и безжизненно.

— Я ничего об этом не знаю. Впервые слышу. Помощник редактора закусил губу.

— Простите, мисс Лэтам, я допустил бестактность, но я не сомневался, что он давно рассказал вам обо всем.

— Славинский никогда не отличался общительностью, — вставил Билинский.

— Это верно. Он и со мной поделился своей тайной из чисто деловых соображений: чтобы я в нужный момент мог немедленно его заменить. Я спросил, не могу ли помочь ему в устройстве личных дел, но он ответил, что все необходимое уже устроено. Не знаю почему, но мне казалось, что мисс Лэтам во все посвящена.

— Когда он рассказал вам об этом?

— В мае прошлого года, по приезде в Англию. Петербургский доктор, по сути дела, не сказал ему ничего определенного, он лишь отметил, что возможность рокового заболевания не исключена. Но потом Славинскому стало хуже, и в Лондоне он сразу отправился к известному невропатологу. Тот сказал напрямик, что надежды нет. Славинский был вынужден поставить в известность комитет и вызвался работать в Лондоне до тех пор, пока не свалится окончательно. Прошлую субботу он рассказал мне, что упал на улице и поэтому должен немедленно подготовить дела для передачи другому товарищу. С этой целью он поехал в Россию, чтобы увидеться с тем, кто займет его место. Тяжело говорить об этом. Билинский, дайте закурить.

Крутя в руках сигарету, Марцинкевич нервно постукивал ногой по полу. У него было живое воображение, и он успел искренне привязаться к Каролу.

— Кого бы нам послать к нему? В телеграмме сказано: «Просим кого-нибудь приехать».

Оливия встала. До сих пор она только молча слушала.

— Поеду я. И сегодня же вечером. Не возьмет ли мне кто-нибудь билет, пока я соберу вещи?

— Но... — начал было Марцинкевич, однако сразу осекся и серьезно закончил: — Да, ехать надо именно вам.

Оливия вернулась домой, написала письмо отцу, взяла в банке деньги, уложила чемодан и отправилась в путь.

В первые минуты она была даже довольна, что необходимость действовать решительно и быстро не оставляла времени для раздумий. Но далее последовали двое суток вынужденного безделья в поезде. Спутники ее мирно дремали на своих полках, Оливия же, забившись в угол купе, думала одну и ту же горькую думу: «А мне он не сказал ничего... Ни единого слова».

К вечеру второго дня она приехала в Броды — маленький пограничный городок, где жили поляки, австрийцы, евреи и немцы. Под затянутым тучами небом узкие улочки казались особенно мрачными и неприглядными. Когда Оливия садилась в пролетку, к ней подошел грязный, подозрительного вида субъект и, приблизив к девушке свою мерзкую физиономию, произнес:

— Не разменять ли дамочке деньги? Или, может, показать город? Могу рекомендовать шикарный отель.

Его сальные длинные пейсы едва не задевали ее щеку. Пролетка отъехала, но до Оливии еще долго доносилась пересыпанная французским жаргоном немецкая брань и циничный, гнусный хохот оборванца.

Карол нашел приют в семье трудолюбивого еврейского ремесленника. Муж и жена — убежденные польские патриоты — считали себя поляками и, героически отказывая себе в самом необходимом, ухитрялись при своем скудном заработке вносить регулярные пожертвования в пользу польского освободительного движения. Карола они видели впервые, но, узнав, что он один из видных организаторов польского рабочего движения, раненный при исполнении долга, были рады поделиться с ним последним. Сами они жили в тяжелых условиях. В довольно чистой, но темной квартире было шумно и людно. Хозяин и хозяйка, несмотря на самые лучшие намерения, не обладали ни временем, ни умением ухаживать за тяжело больным. При таком положении самым целесообразным было бы отправить Карола в больницу, но по вполне понятным причинам этого нельзя было сделать. Карол с благодарностью принял предложение хозяев остаться у них. Они

встретили Оливию изъяснениями бурного восторга.

— Хая! Хая! — закричал муж, когда экипаж подкатил к дому. — Приехала медицинская сестра из Лондона. Беги скорее за доктором! Он просил сразу ему сказать.

Муж и жена чуть ли не силой втоптали Оливию в дом, пронзительно крича на варварском немецко-польском жаргоне; отчаянно жестикулируя, они пытались объяснить, как они волновались за больного и как несказанно обрадовались, получив ее телеграмму. Оба не сомневались, что раз уж приехала медицинская сестра, больной непременно поправится.

— Подумать только, ведь он же мог умереть в нашем доме и, быть может, по нашей вине! Мы ведь тут круглые дураки — совсем не умеем ходить за больными. Правда, Абрам?

— Да, да, конечно! И такой нужный нашей родине человек! Вэй, вэй! Какая была бы страшная потеря! Пожалуйста, не думайте, что раз мы евреи, то уже не можем быть хорошими патриотами. Брат моей жены Соломон был сослан в Сибирь за участие в польской демонстрации. Мы родом из русской Польши, и мне тоже пришлось бежать через границу, когда...

Оливию сколь могла мягче прервала эти излияния:

— Вы поступили как самые преданные патриоты, отнесясь с такой добротой к доктору Славинскому. Нельзя ли мне, прежде чем идти к больному, помыться и переодеться?

Тут, к счастью для Оливии, в комнату вошел доктор — молодой немец со встопорщенными, как щетина, волосами, — и девушка прошла с ним наверх.

— Постарайтесь не пускать этих славных людей к больному, — сказал он Оливии, задержавшись в узком затхлом коридоре. — Они очень добры и готовы отдать ему последнее, но они слишком болтливы, а ему нужен покой.

— Вы считаете, что он безнадежен?

— Как вам сказать... Если б упала температура и он успокоился, то, возможно, он бы и выжил. Но вряд ли. Последние три дня он непрерывно бредит.

— У него сломана берцовая кость?

— Открытый перелом с последующим заражением крови. Его привезли в какой-то жалкой тележке, всю дорогу его трясло и подбрасывало. Вы говорите по-польски?

— Немного.

— А я совсем нет, и это осложняет положение. Я только недавно

приехал из Вены. С тех пор, как у него началась горячка, он все время говорит по-польски. А я ничего не понимаю. Вот опять, слышите?

Доктор отворил дверь, и до ушей Оливии донесся голос Карола. Прикрыв лицо рукой, он что-то говорил.

Оливия положила его руку на одеяло и ловко взбила подушки. Дыхание Карола стало ровней. Его широко раскрытые глаза смотрели на Оливию; не узнавая ее, он продолжал бормотать что-то по-польски. В непонятных словах слышался какой-то ритм.

— Вы что-нибудь понимаете? — спросил доктор. — Он все время повторяет одно и то же. Что это, молитва?

Оливия прислушалась:

— Не могу разобрать. Хотя, подождите.

— *А когда они приближались к кладбищу, услышал Ангелли гимн жалующихся могил и как бы жалобу останков на бога...*

Слова показались ей знакомыми, но Оливия никак не могла вспомнить, где же она их слышала.

— *...Но лишь только поднялись стоны, ангел, сидевший на вершине холма, повеял крылами и утишил их. И три раза совершал он это, ибо трижды начинался плач могил...*<sup>[19]</sup>

Оливии приходилось читать вместе с Марцинкевичем польскую поэзию, и она вспомнила милосердного ангела из поэмы «Ангелли»<sup>[20]</sup>.

— Он читает стихи, — сказала она.

Доктор задержался еще на несколько минут, объясняя девушке, что она должна делать. Он сразу понял, что перед ним опытная, знающая медицинская сестра, и состояние больного стало казаться ему не таким безнадежным. О другом его заболевании он и не подозревал.

— Не волнуйтесь, — ободряюще сказал он на прощание, пожимая Оливии руку, — я полагаю, он выживет.

Оливия взглянула на него с улыбкой.

— А я и не волнуюсь. Пускай даже не выживет. Тем не менее мы должны сделать все возможное, чтобы его спасти. А потом уж он сам решит, стоит ли продолжать...

Доктор отшатнулся, не веря своим ушам.

— Боже мой! — пробормотал он, спускаясь по лестнице. — Какая жестокая женщина.

Когда он ушел, Оливия послала услужливого Абрама за дезинфицирующими средствами и чистым бельем и принялась вместе с Хаей приводить в порядок комнату больного. Карол перестал метаться и

бредить и лежал теперь неподвижно, устремив взгляд в одну точку. Когда Оливия чуть приподняла больного, чтобы Хая могла сменить простыню, на улице запели три надтреснутых женских голоса. Они тянули что-то нестройное и визгливое. К ним примешивались издевательские выкрики уличных мальчишек. Услышав это, Карол застонал.

— Опять пришли эти окаянные крашенные пугала, — сердито сказала Хая. — Когда Мендель привез сюда раненого, он дал им денег, и с тех пор от них покоя нету. Эти красотки обошли уже всю Галицию и поют везде одну и ту же песню: как, мол, они молоды и красивы и как сводят с ума мужчин. Бесстыжие твари! Небось другой песни они и не знают. У нас их прозвали «попрыгуньями». Слыхала я, что одна из них была в молодости красавицей и жила припеваючи в Вене, еще когда наши матери были детьми. А теперь они никому не нужны, вот и побираются. Но все-таки грех этим пострелам швырять в них камнями...

— Тс... тс, — прервала ее шепотом Оливия, вынимая из кошелька деньги. — Пожалуйста, отдайте им вот это и попросите уйти. Здесь должно быть тихо.

Дребезжащие старческие голоса, немилосердно фальшивя, выкрикивали теперь какую-то скабрзную немецкую песенку:

Как-то летним вечерком  
Мы гулять пошли втроем...

В глазах Карола мелькнул ужас.

— Умирает от голода... — прохрипел он, — ...от голода.

Старух прогнали прочь, и Карол погрузился в полузабытье. Поздно вечером он вдруг громко произнес:

— Встань! Не настало еще время отдохновения.

С бьющимся сердцем Оливия подошла к постели больного.

Очевидно, мысли его опять вернулись к «Ангелли». Он весь горел и метался на кровати, порываясь встать. Немного погодя жар спал, и больной успокоился. Оливия опустила занавеску и села к окну. Вскоре с кровати снова послышался голос, на этот раз он звучал отчетливо и размеренно:

— *Нет ни одной птицы в воздухе, которая не спала бы хоть одну ночь в жизни в спокойном гнезде.*

*Но обо мне бог забыл. Я хотел бы умереть. Ибо кажется мне, что когда я умру, то сам бог пожалеет о том, что он сделал со мною, думая: «Вот он уже не родится во второй раз».*

*...И вот мне грустно, что увидел я этого ангела, и лучше бы мне умереть вчера.*

Оливия облокотилась на подоконник и закрыла лицо руками. А голос из темноты продолжал:

*— ...и родился он из слезы Христовой на Голгофе, из той слезы, что пролита была за народы.*

*Где-то в другом месте написано было об ангелице этой, внучке Марии, пречистой девы, как согрешила она, сжалившись над муками темных херувимов, и возлюбила одного из них, и улетела за ним во тьму. А теперь она изгнанница, как все изгнанные, и полюбила она могилы ваши, и оберегает их, говоря костям: «Не жалуйтесь, но спите!»*

Оливия подняла голову и, затаив дыхание, слушала, вперив глаза в темноту.

Как-то летним вечерком... —

снова слышались за окном гнусавые старческие голоса. Потом раздался взрыв хохота, и пьяный мужской голос с издевкой крикнул:

— Эй, ты, кожа да кости, поцелуй меня!

Оливия открыла окно и выглянула на улицу. Капли дождя упали ей на лицо.

В грязи, съежившись от холода, стояли три дряхлые сестры. Ветер раздувал их пестрые юбки; нелепые шляпки, ухарски сдвинутые набок, не скрывали бесстыдно-рыжих париков. Одна из старух, заслышав стук открываемого окна, подняла голову и плаксивым, гнусавым голосом стала жаловаться на холод, голод и преследования уличных мальчишек. Предательская прядь седых волос, выбившись из-под парика, уныло свисала на нарумяненную щеку.

— Пустите, дамочка, переночевать! На одну только ночь...

Оливия бросила им денег и, приложив к губам палец, сделала знак уйти. Послав ей воздушный поцелуй, зловещая троица заковыляла прочь.

Карол тихо застонал. Оливия подошла к постели и стала смотреть на него. Издалека чуть слышно доносились дребезжащие голоса:

Как-то летним вечерком...

Оливия подумала о Владимире и впервые позавидовала ему: он по

крайней мере был мертв.

## ГЛАВА VI

Когда доктор Бергер сказал Оливии, что опасность миновала, она, как ее отец, чуть приподняла брови, но ничего не ответила. Чувство возмущения, даже ужаса, охватившее доктора при первом их знакомстве, на миг снова ожило; но он тут же с горечью подумал: «Как жаль, что другие мои больные не имеют таких надежных сиделок». Уйдя, он долго еще размышлял о странностях человеческой природы. Вот, например, эта мисс Лэтам: вложила столько труда, чтобы выходить больного, а самой все равно — будет он жить или нет.

Оливия и в самом деле была равнодушна ко всему на свете, кроме одного: необходимо как можно скорей, любой ценой увезти Карола в Англию. Ее мучила близость русской границы; во сне и наяву она ощущала эту близость, и даже в короткие часы сна ее терзали кошмары. Разве русские, оказав давление на местные власти, не могут добиться выдачи преступника? Да и без этого — чего нельзя сделать за взятку в таком глухом городишке, где граница рядом и нет никакой гласности? Подобные случаи бывали, если не здесь, то на балканской границе. При известной ловкости можно все устроить очень просто. Немножко шантажа, немножко уговоров, немножко денег, привезенных улыбающимся русским агентом; мгновенное похищение темной ночью; наспех состряпанное для виду расследование; несколько возмущенных протестов в газетах; запрос в парламенте; одна или две дипломатических ноты — и на этом дело кончится. «Такое уж не раз случалось, — твердила она себе днем и ночью, — почему бы не сделать то же самое еще раз?»

Эти неотступные страхи целиком завладели Оливией, и даже угроза паралича, нависшая над Каролом, как-то померкла. «Все можно стерпеть, — думала она, — лишь бы увезти его подальше от России. Жить ему осталось немного, но в Англии никто не станет его мучить»...

Посоветоваться было не с кем, и поэтому, как только Карол пришел в себя, Оливия спросила его самого, не опасается ли он нападения со стороны русских.

— Они могут просто похитить вас или сделать это через дипломатические каналы, — добавила она.

— Причин для беспокойства нет, — ответил Карол, как всегда, лаконично. — Организовать здесь похищение — вещь рискованная, это

ведь не Румыния и не Турция. Что же касается выдачи преступника согласно международному праву, то не забывайте, что австрийские чиновники — народ весьма порядочный. Они могут выслать меня, если русские начнут их сильно допекать, но и тогда предоставят мне самому решать, куда я поеду.

И Оливии пришлось этим удовольствоваться. Больной был в таком состоянии, что оставалось только ждать. Кость сращивалась очень медленно: рана, загрязнившаяся в первую ночь, то и дело нагнаивалась. Если воспалительный процесс стихал на несколько дней, то перенесенные боли настолько изматывали Карола, что подвергать его утомительному путешествию было не только опасно, но и жестоко. Сам он в короткие часы передышки хотел только одного — спать, спать, пока не мучат боли. Несколько недель даже работа — самое главное в жизни Карола — перестала его занимать. Он неподвижно лежал на постели, безучастный ко всему, что творилось вокруг.

По мере того как Карол набирался сил, в его отношении к Оливии все больше проступали натянутость и отчужденность. Порой казалось, что ее присутствие даже раздражает его. Очнувшись и увидев возле постели Оливию, Карол долго молча смотрел на нее, а потом отвернулся к стене и пробормотал:

— Неужели они не могли прислать кого-нибудь другого?

После этого его вежливо-холодное обращение с Оливией нарушалось иногда вспышками сдерживаемого недовольства, которые озадачивали и пугали девушку.

Для нее эти недели были ужасны. Ни один самый тяжелый больной не вызывал в ней такого удручающего чувства личной ответственности, как Карол. Никогда еще спасение человеческой жизни не казалось ей таким тщетным и жестоким делом. Положение обоих, и без того достаточно неприятное, стало еще тяжелее, когда они начали испытывать в присутствии друг друга странную, необъяснимую застенчивость. Взрослые, зрелые люди, они невыносимо страдали от сковывавшей их чисто юношеской робости. Впервые за свою долгую медицинскую практику Оливия смущалась, когда ей приходилось раздевать больного, прикасаться к его телу, приподнимать его, обрабатывать рану. И сам Карол, то бледнея, то краснея, бормотал, пряча глаза: — Пусть это сделает Абрам!

Она часто задавалась вопросом, простит ли ей когда-нибудь Карол то чувство неловкости, которое она в нем сейчас вызывала, и возобновятся ли их простые, дружеские, сердечные отношения. Она старалась уверить себя, что его теперешняя неприязнь к ней вполне объяснима, но было горько

сознавать, что с этим чувством он и умрет.

Впрочем, если как следует вдуматься, он никогда и не считал ее настоящим другом. Он вызволил ее из ямы, вселил в нее желание жить и работать, но так и остался для нее загадкой. И даже теперь, перед концом, когда она знает его тайну, она ничего не знает о нем самом. Он не делился с ней даже теми мелочами, которыми больные обычно делятся с сиделками, и ей приходилось догадываться обо всем самой. Карол никогда не отличался разговорчивостью, а сейчас и совсем замкнулся в себе. О приступе острой боли она узнавала лишь по плотно сжатым губам, а о том, что боль прошла, — по смягчившемуся выражению лица и более ровному дыханию.

Как-то раз, на второй месяц после приезда Оливии, она зашла в комнату больного, чтобы сделать перевязку, и застала Карола за чтением письма, принесенного Хаей. На конверте была лондонская марка.

— У Марцинкевича опять трудности с литовцами, — сказал он, не поднимая глаз. — Он спрашивает, скоро ли мы вернемся.

— Доктор Бергер полагает, что на будущей неделе вы уже можете выехать. Конечно, мы поедem в отдельном вагоне.

— Это излишне, потому что дорого, а у партии и так мало средств.

— Отец прислал мне кучу денег. Сегодня я получила от него письмо. Он просит телеграфировать о дне нашего выезда, хочет встретить нас в Кале.

— Не надо вводить в расходы вашего отца, да и кроме того...

— Пусть отец поступает, как ему хочется, Карол. Вам ведь в конце концов все равно, а папа так счастлив, когда может хоть чем-нибудь вам помочь.

Больной, нахмурившись, задумался, потом с безразличным видом сказал:

— Ну что ж, пусть поступает по своему усмотрению. В таком случае выедем сразу, как только позволит Бергер. Переезд для меня теперь не опасен, а в Лондоне накопились неотложные дела.

— Так и сделаем.

Дыхание Оливии участилось: пора сломать этот противоестественный барьер между ними. Наконец она собралась с силами.

— Карол, я все знаю. Марцинкевич мне рассказал.

В наступившей тишине едва слышное тиканье настольных часов показалось ей громким, назойливым шумом, разросшимся вскоре до оглушительного грохота. Когда Карол заговорил, его тон заставил Оливию съежиться, словно ее уличили в низком, постыдном поступке.

— Самое плохое в Марцинкевиче то, что он так молод. Ему предстоит излечиться от чрезмерной болтливости.

— Он вовсе не болтлив, — проговорила, запинаясь, Оливия, — он думал, что я знаю... что вы сами сказали мне.

— Вот это я и имею в виду, когда говорю, что он слишком молод.

Оливия ошеломленно смотрела на него.

— Значит, и я слишком молода? Что-то я не чувствую в себе этой молодости. Мне, как и Марцинкевичу, тоже кажется, что вы должны были сами рассказать мне все.

— Дорогая Оливия, говорить людям неприятные вещи следует лишь тогда, когда это может помочь делу. В противном случае лучше держать их при себе. — И вежливо добавил: — Будь это что-нибудь приятное, я безусловно тут же рассказал бы вам. Но зачем взваливать мои личные невзгоды на плечи друзей? Я и так причинил вам немало хлопот.

У Оливии перехватило дыхание. Мало того, что он ничем с ней не делится, так он еще смеет прибегать к этому официально-любезному тону!

— Неужели мы дошли до того, что должны изъясняться притворно-учтивыми фразами? Лучше сразу скажите, что не хотите разговаривать со мной на эту тему, и дело с концом. — Голос ее пресекся. — И, пожалуйста, не думайте, что я ставлю себе в заслугу мои усилия спасти вас. Я знаю, что с моей стороны жестоко возвращать вас к жизни и лишать единственной надежды на быстрый конец. Я и не рассчитываю на ваши дружеские чувства.

— Как раз наоборот. Я вам очень признателен за то, что вы меня вытащили. Мне вовсе не хотелось умереть сейчас. Я еще не привел в порядок свои дела.

— Ваши... личные дела?

Помрачневшее лицо Карола сразу заставило ее понять, что она ступила на запретную почву.

— Я имею в виду свою работу. Мои личные дела касаются только меня одного и никого больше.

— В таком случае... — Оливия медленно встала и, подойдя к шкафу, открыла ключом один из ящичков. — В таком случае мне следует вернуть вам вот это.

Беря из ее рук пузырек, он поднял на Оливию глаза, и оба молча, с побелевшими лицами, смотрели друг на друга.

— Вы нашли это на мне?

— Хая нашла. Она отдала мне бутылочку, когда я приехала. Ведь это она раздела вас, когда вы потеряли сознание.

— Что ей известно?

— Ничего, кроме того, что здесь морфий. Когда она стала меня расспрашивать, я успокоила ее ложью: сказала, что в Лондоне вы страдали зубной болью и прибегали иногда к этим каплям.

— Благодарю вас, — сказал Карол, пряча бутылочку под рубашку. — Вы поступили правильно.

Оливия начала скатывать бинт.

— Пора делать перевязку, — тихо произнесла она. Снимая корпию, она почувствовала, как напряглись под ее пальцами мышцы ноги.

— Больно?

— Нет, просто я немного устал.

Карол не открывал глаз, пока Оливия не закончила перевязку. Дыхание его показалось ей слишком частым и затрудненным. Поправляя постель, она с беспокойством вглядывалась в его напряженное лицо.

— Спасибо, — проговорил он, открыв глаза и через силу улыбаясь. — Мне очень досадно, что вам приходится возиться с этим.

Пальцы его правой руки, бледной и исхудавшей, с резко выступающими крупными костями, беспокойно теребили край простыни. Оливия смотрела на него с удивлением: бесцельные движения были совсем не в натуре Карола. И вдруг она вспомнила подвижные, незабываемые, волшебные пальцы Владимира. Горло сдавила судорога. Едва это воспоминание промелькнуло у ней в голове, как Карол сейчас же угадал его. Рука замерла, потом скользнула под одеяло.

— Кстати, — промолвил он немного погодя, — раз уж мы заговорили на эту тему, я хочу объяснить: морфий... не предназначался для употребления в ближайшем будущем.

Оливия поправляла одеяло. Голос ее звучал невыразительно и спокойно:

— Вы хотите повременить, пока приведете в порядок свои дела?

— Может быть, и дольше. Вы должны знать, что болезнь эта развивается медленно. Может пройти несколько месяцев, а то и год, прежде чем наступит полный паралич, а до тех пор я еще успею многое сделать. Частично парализованные люди вполне могут работать. Морфий я держу при себе на всякий случай — мало ли какой оборот может принять болезнь, надо быть ко всему готовым...

— Значит, когда...

— Когда я не смогу больше работать, то, естественно, распоряжусь своей жизнью так, как найду нужным.

Оливия не шевелилась, рука ее крепко сжимала спинку кровати.

— Вы хотите сказать, что до тех пор, пока вы в состоянии трудиться на пользу партии, вы считаете, что обязаны жить, какими бы тяжелыми ни оказались условия?

Тиканье часов вновь заполнило наступившую тишину.

— Когда я начал свою работу, я не искал легких условий... — Голос его затих, и он закончил фразу уже про себя: — И быть может, это не продлится долго...

Карол отвернулся к стене, а Оливия, в лице которой не было ни кровинки, принялась убирать комнату.

Как только доктор Бергер дал разрешение на переезд, Оливия договорилась об отдельном вагоне для больного и быстро собралась в дорогу. Однако в самый последний миг отъезд пришлось отложить — рана опять загноилась, и прошло десять дней, прежде чем больной поправился.

А тем временем наступили морозы. Зайдя как-то на рассвете к Каролу, Оливия решила, что в комнате слишком холодно. Она принесла дров, бесшумно ступая в войлочных туфлях, чтобы не разбудить Карола. Он провел ужасную ночь и задремал лишь под утро. Вся поза его говорила о крайнем изнурении; в тусклом рассвете измученное, приподнятое на подушке лицо казалось совсем серым.

Отсыревшие дрова никак не разгорались, а лишь дымили и трещали. Опустившись на колени у печки, Оливия осторожно ворошила поленья, то и дело оглядываясь через плечо на спящего Карола. И вдруг, неожиданно для себя, она расплакалась. Не горе вызвало эти слезы; просто сказалась усталость после бессонной ночи да докучливая возня с дровами.

Когда Каролу стало лучше, Оливия перевезла его в Лондон. В пути они обращались друг к другу только по необходимости. Ледяное молчание Карола возмущало Оливию, и на защиту ее оскорбленному самолюбию пришла профессиональная выдержка вышколенной сиделки. Глядя на эту спокойную, ловкую, молчаливую женщину, столь внимательную к телесному недугу больного и явно равнодушную к его душевному миру, никто не подумал бы, что он значит для нее бесконечно больше, чем обычный больной, к которому ее наняли.

Мистер Лэтам, встретивший их в Кале, заметил эту странную скованность, но благоразумно воздержался от вопросов. «Хотел бы я знать, кому из них пришлось хуже», — подумал он, переводя взгляд с одного на другую.

— Тебе удалось снять для нас подходящую квартиру? — спросила Оливия, выйдя с отцом на палубу, где гулял ветер, когда носилки с Каролом поставили в укрытое место.

— Нет. Но я говорил с доктором Муртоном и еще с тем твоим другом, фамилию которого так трудно выговорить...

— Марцинкевичем?

— Да. Оба считают, что вам лучше сразу же поехать в Хатбридж. Воздух и удобства там такие, каких в Лондоне для больного не найти.

— А как же мама, папочка?

— Мама уехала. Дженни увезла ее на зиму на Ривьеру. Девочка сама это предложила. Она подумала, раз тебе предстоит выхаживать такого тяжелого больного, это легче сделать дома, и поэтому уговорила маму лечить невралгию на Ривьере. Умница наша Дженни, не правда ли? Вот увидишь, им обеим там очень понравится,

— И они пробудут там всю зиму?

— Всю зиму. Можешь превратить дом в больницу, в фабрику или во что тебе угодно, и если твои иностранцы не пожелают оставить больного в покое, пусть приезжают к нам по воскресеньям. Я буду жить, как обычно, в своей берлоге, а Дик Грей станет помогать тебе, когда не будет занят в Дискуссионном клубе воинствующих старух. Душа человек этот Дик.

— Вот кто душа человек, — растроганно прошептала Оливия, погладив руку отца.

Когда Каролу сообщили о том, куда его повезут, он сначала забеспокоился и пробормотал: «Слишком много хлопот», — но, очевидно, был настолько измучен и утомлен, что не мог серьезно возражать, и предоставил Оливии делать, что ей угодно. А для нее отцовское предложение было наилучшим из всех возможных: дружеская близость отца, теплое участие Дика и доктора Муртона, сознание, что она дома, среди своих, где никто не станет преследовать Карола, помощь чутких друзей — все это бесконечно облегчало ее задачу. Что касается самого Карола, то свежий воздух, тишина, покой и удобства богатого загородного дома сделали свое дело: воспалительный процесс в ране стих, и она стала заживать. Карол уделял пристальное внимание вопросам, по которым с ним время от времени советовался Марцинкевич, но был еще слишком слаб, чтобы интересоваться чем-то самому, и высказывал свое мнение, лишь когда к нему обращались.

Зима прошла спокойно. После Нового года Карол вновь занялся редакционными делами, разумеется, поскольку это было возможно для прикованного к постели больного. Лежа на высоко взбитых подушках, он по несколько часов в день читал деловые письма и просматривал финансовые отчеты. Марцинкевич приезжал раз в неделю, рассказывал о проделанной работе и получал указания и советы на будущее. Оливия

постепенно из медицинской сестры вновь превратилась в секретаря. Ее письменный стол перенесли в комнату больного, и, лежа в постели, Карол ровным, бесстрастным голосом диктовал ей очередные заметки. Лицо его оставалось непроницаемым.

Как-то в марте, когда она писала под его диктовку отчеты, в комнату вошел мистер Лэтам.

— Я вам не помешал? У меня хорошие новости.

Карол отложил бумаги и с вежливым вниманием посмотрел на хозяина дома. Новости, как хорошие, так и плохие, теперь мало интересовали его.

— Я сейчас встретил доктора Мортон. Он очень доволен тем, что кость наконец срослась, и сказал, что завтра позволит вам встать и пройти по комнате.

Оливия, низко склонившись над своими записями, услышала ровный голос Карола:

— Это, пожалуй, больше, чем я могу себе позволить на первых порах, но там видно будет.

— Для Оливии и меня это знаменательный день, — сказал, улыбаясь, мистер Лэтам и ласково погладил склоненную голову дочери. — Не правда ли, дорогая?

Оливия закусила губу, и отец, почувствовав, что она вся дрожит, тихонько вышел, не желая мешать их радости. Когда дверь закрылась, Оливия подняла голову.

Встретив взгляд Карола, она нечеловеческим усилием воли подавила подступившие к горлу рыдания.

— Карол, так не может продолжаться. Почему вы им не скажете? Завтра они все равно узнают.

— Они могут и не узнать, — ответил он тем бесстрастным тоном, который всегда сводил на нет все ее возражения. — За последние полгода паралич мог не развиваться дальше, и мне, наверно, удастся встать. А если даже и нет, то они припишут это слабости. Всем известно, что человек, пролежавший несколько месяцев в постели, так ослабевает, что не может сразу ходить.

Оливия сделала еще одну, последнюю попытку:

— Допустим, завтра они этому поверят. А послезавтра и в последующие дни?

— Я придумаю неотложный предлог, чтобы немедленно уехать в Лондон. Марцинкевич пришлет мне соответствующую телеграмму. Я все равно должен вскоре покинуть эти стены. Мое пребывание в доме вашего отца и так затянулось.

— Вы прекрасно знаете, как огорчится отец, когда узнает, что вы уехали, не начав еще ходить. Ведь весь дом в вашем распоряжении. Мама и Дженни пробудут в Швейцарии до июня. Карол, отец так привязан к вам, почему вы не хотите сказать ему правду?

— Во-первых, потому, что не люблю причинять людям беспокойство. Ваш отец был и так безгранично добр ко мне, и, если я расскажу ему все, он захочет помогать мне и впредь. А во-вторых, потому, что в настоящее время я не испытываю потребности в дружеском участии. Я хочу, чтобы мой отъезд состоялся в обычной спокойной обстановке, безо всякой суматохи. И, наконец, раз уж вам так хочется поставить все точки над *i*, то извольте: я могу нести свой крест один, но не могу говорить об этом с другими. Во всяком случае, подождем до завтра. А теперь вернемся к нашим отчетам.

## ГЛАВА VII

Оливия провела бессонную ночь, считая часы, оставшиеся до рассвета. Когда она после завтрака вошла в комнату Карола, отец был уже там, — перед отъездом в город он любил поболтать немного со своим гостем.

— Постараюсь вернуться сегодня пораньше, — сказал он, пожимая руку Каролу. — Мне не терпится узнать, как у вас пойдут дела. А вечером, если пожелаете, мы продолжим чтение медицинской рукописи, той, что относится к четырнадцатому веку. С вашей помощью я надеюсь в ней разобраться. До свидания, желаю удачи! Это вы, Мортон? Спешу на утренний поезд.

Оливия вышла с отцом из комнаты. Когда доктор Мортон позвал ее, Карол был уже одет и сидел на краю постели. Его неудачные попытки встать несколько не обескуражили врача, который, улыбаясь и ободряюще кивая, повторял:

— Да, да, вначале всем трудно. Попробуйте еще раз, теперь наверняка получится.

Оливия отвернулась и, подойдя к окну, бессознательно стиснула руки. Чудовищная нелепость этой сцены вызвала в ней бешеный гнев против Карола. Если хочет, пусть сам тешится этой отвратительной комедией, но кто дал ему право втягивать и ее в такую игру? Это жестоко, несправедливо...

— Ну вот и чудесно! Через месяц вы будете ходить не хуже меня.

Молодчина! Да у вас такой организм, что...

Уверенные слова доктора оглушили Оливию, словно удары молота, потом шум в ушах стих, и наступила тишина. Голос Дика на лестнице вернул ее к действительности. Доктор Мортон весело кричал:

— Это вы, мистер Грей? Идите сюда и поздравьте нашего больного! Он уже три раза прошелся по комнате. Никогда не видел столь быстрого исцеления. Что, немного закружилась голова? Прилягте. Оливия, принесите, пожалуйста, коньяку.

— Благодарю вас, не надо. Мне уже лучше, — сказал Карол.

Он сел к столу и прикрыл рукой глаза. Оливия подошла к нему и тронула его за плечо.

— Карол?

Схватив ее за руку, он хрипло прошептал:

— Уведите их отсюда.

Оливии не без труда удалось выпроводить из дому двух радостных доброжелателей. Распрощавшись на крыльце с мистером Мртоном и придумав какое-то поручение для Дика, Оливия вернулась в комнату Карола. Он все еще сидел, облокотившись о стол и прикрыв глаза рукой. Когда вошла Оливия, он поднял к ней бледное, суровое лицо.

— Пожалуйста, проверьте у меня сухожильные рефлексы.

Оливия повиновалась. Непроизвольное подсакивание голени, когда она резко ударяла по колену краем ладони, представилось ей в пределах нормы, но она плохо разбиралась в заболеваниях центральной нервной системы. Лишь взглянув на Карола и увидя его серое, страшное лицо, она поняла, что рефлексы не предвещали ничего доброго.

— Достаточно, спасибо. Прошу вас, сделайте так, чтобы никто сюда не входил. Это утро мне бы хотелось побыть одному.

За время его болезни, когда ему бывало особенно худо, он иногда обращался к ней с подобной просьбой. Оливия знала, что эта потребность в уединении — верный признак того, что физические или душевные силы Карола на исходе. Она молча вышла из комнаты.

Всю предыдущую ночь, да и все эти страшные месяцы она старалась подготовить себя к самому худшему: внушить себе неотвратимость предстоящего. Теперь это худшее настало. Она знала, что могла бы встретить катастрофу если не спокойно, то достаточно мужественно. Но бессмысленная жестокость этой вспыхнувшей и тут же погасшей надежды сразила ее: только у человека, который увидел смерть, могло быть такое лицо, какое только что было у Карола.

Оливия не заходила к нему все утро. К концу дня он уже вполне

овладел собой и с безмятежным видом выслушал поздравления мистера Лэтама.

Через несколько дней он спустился на костылях в столовую. Чтобы отметить столь торжественное событие, к обеду пригласили Дика и доктора Мортон. Карол показал себя совсем в новом свете: своим певучим литовским говором он рассказывал такие забавные анекдоты, что гости смеялись до упаду. Оливия, как вежливая хозяйка, принимала участие в общем веселье, но в горле у нее стоял комок, а глаза странно поблескивали. Раз-другой ей показалось, что тень беспокойства промелькнула на лице отца; однако он весь вечер продолжал играть роль радушного хозяина и, целуя Оливию на ночь, ни словом не обмолвился о том, что не укрылось от его внимания. А может быть, он ничего и не заметил. Поднимаясь к себе, Оливия в который уже раз мысленно поблагодарила отца за его сдержанность.

Впрочем, в этом доме все были сдержанны.

Карол полностью вошел в роль выздоравливающего больного: неловко ковылял на костылях по дому, сидел за письменным столом, оживленно беседовал по вечерам с мистером Лэтамом или разбирал с ним средневековые медицинские рукописи.

Но днем он обращался к Оливии лишь в случаях крайней необходимости. Девушка стала теперь бояться дневных часов, когда они работали вместе. Оливии казалось, что Карол живет в недоступной ледяной пустыне, куда она не имеет права вторгаться и тревожить ее могильный покой.

Доктор Мортон объявил, что к июню Карол уже сможет ходить без костылей, и мистер Лэтам убедил его остаться до тех пор в Хатбридже.

— Я хочу увидеть, как вы уйдете из моего дома сами, без всякой посторонней помощи, — сказал он.

— Боюсь, тогда я совсем зазнаюсь, — беспечно ответил Карол и перевел разговор на другое.

В середине мая установилась чудесная погода, и мистер Лэтам уговорил Оливию сделать перерыв в работе и побродить с ним немного по полям.

— Скоро ты уедешь в Лондон, успеешь еще там наработать. А пока что ты и я всласть насладимся весной, и пускай-ка доктор Славинский покормит немного без тебя.

— Я расквитаюсь с ней в Лондоне, — смеясь, ответил Карол, — засажу ее за сверхурочную работу.

— Тогда наслаждайся, пока можешь, Оливия, — сказал мистер Лэтам,

— надевай скорей шляпу, и пусть этот жестокосердный повелитель читает себе гранки в одиночестве.

Оливия, не поднимая глаз, ушла за шляпой. И как только он может шутить! Да еще в ее присутствии!

Отец и дочь вернулись домой только к вечеру. Войдя в сад, они увидели на столе под каштаном книги и записи Карола. Очевидно, он весь день работал на воздухе.

— Посмотри! — вскричал мистер Лэтам. — Он идет без костылей!

К ним шел Карол, неся несколько книг. Шел он явно с трудом, сильно прихрамывая.

— И он совсем не волочит ноги, даже пыль не поднимает... — Слова эти сорвались с губ Оливии прежде, чем она осознала, что говорит. Но отец не слышал, он бросился к гостю.

— Bravo! Bravo! Но не надо переутомляться. Разрешите мне взять у вас книги. Может быть, обопретесь на мою руку?

— Благодарю вас, я справлюсь сам, — услышала Оливия голос Карола.

Стоя на тропинке, она смотрела им вслед. У крыльца Карол остановился, и Оливия вспомнила, как два года тому назад Дженни воскликнула: «Я так и знала, что он споткнется о коврик!» Но на этот раз он не споткнулся, а, осторожно поднимая ноги, поднялся по двум ступенькам.

— Оливия, чего это вы так запыхались? — послышался сзади голос Дика. Девушка вздрогнула и оглянулась. За спиной у нее — Дик.

— Да так, Дик... спешу... До свидания.

Оливия вбежала в дом. Когда она проходила мимо дверей кабинета, отец окликнул ее. С ним был Карол.

— Славинский не хочет остаться до июня. Теперь, когда он может ходить без костылей, он желает немедленно вернуться к работе.

— Вы, очевидно, полагаете, что я завладел этим домом навечно. А ведь я уже целых пять месяцев злоупотребляю вашим гостеприимством.

— Оставайтесь хотя бы до конца недели. Завтра я еду в Лондон на заседание Аристотелевского общества. Не подыскать ли мне для вас квартиру?

— Я сделаю это сама, папа, — поспешила вмешаться Оливия, хватаясь за любой предлог, лишь бы не остаться вечером наедине с Каролом. — Мне все равно надо в Лондон... к портнихе и... вообще. Мы проведем там с тобой завтрашний день, сходим на дневной спектакль.

Она замолчала, почувствовав на себе взгляд Карола. Мистер Лэтам,

немного удивленный и обеспокоенный, поспешно выразил согласие и снова обратился к гостю:

— Мне придется переночевать в городе, поэтому оставим комментарии к Аверроэсу<sup>[21]</sup> до завтра. Может быть, на той неделе мы покончим с ним.

Утром Оливия с отцом уехали в город. На вокзале они расстались, условившись вместе позавтракать, а потом пойти в театр. Проходя по Кавендиш-Сквер, Оливия заметила на угловом доме табличку: «Сэр Джозеф Барр». Она прошла чуть дальше, бессознательно повторяя про себя эту фамилию, и вдруг ее осенило: да ведь это тот специалист, который сказал, что болезнь Карола неизлечима. Некоторое время девушка колебалась, потом, повинувшись внезапному порыву, быстро вернулась и поспешно, чтобы не раздумать, позвонила.

В приемной она склонилась над столом и стала перелистывать журналы. «Может быть, я и не права, придя сюда без согласия Карола, — думала она, — но я больше не могу. Я должна знать правду».

Прошел час, прежде чем ее пригласили в кабинет. Она рассказала доктору о цели своего посещения. Сэр Джозеф сразу вспомнил Карола.

— Да, да. Он, кажется, польский эмигрант? Когда он был у меня?

— Два года назад в это же время. Барр отыскал запись в своем журнале.

— И вы находите, что после длительной болезни он стал ходить лучше?

— Он все еще сильно хромает и только начинает ходить без костылей. Но по сравнению с прошлым годом он гораздо меньше волочит ноги.

— А вы говорили с ним об этом? Он ведь врач, насколько я помню?

Оливия покачала головой:

— Я не смею. Мне это могло показаться, и я не хочу понапрасну его обнадеживать.

— А может быть, и не понапрасну. Заболевание его считается, как правило, неизлечимым. Но за последнее время известны случаи, когда длительный и полный покой приостанавливал дальнейшее развитие губительного процесса. Когда ваш знакомый был у меня, я сказал ему, что он должен лечь в постель и как следует отдохнуть несколько месяцев. Но он ответил, что у него слишком много работы, и я не стал настаивать, полагая, что процесс все равно зашел слишком далеко. Возможно, пулевое ранение спасло его. Мне очень хотелось бы посмотреть его еще раз.

— Через две недели он приедет в Лондон.

— Меня не будет в городе. В начале будущей недели я уезжаю на

месяц за границу.

Оливия стиснула на коленях руки. Целый месяц...

— А вы не согласились бы приехать к нам в Суссекс? Боюсь, я не смогу уговорить его и привезти к вам на консультацию. Он считает свое положение безнадежным, мне просто страшно заговаривать с ним об этом.

Доктор посмотрел на календарь.

— Я бы, конечно, согласился, но у меня все дни заняты. Свободен только сегодняшней вечер. После шести я к вашим услугам. Поезд до Брайтона, не так ли?

— Да. Вечером есть как раз очень удобный поезд, а попозже — обратный. Если вы согласитесь поехать, это... избавит его от ужасной неизвестности.

Мостовая под ногами качалась, как палуба корабля во время шторма, когда Оливия шла по улице. Известив отца, чтобы он ее не ждал, она первым же поездом уехала в Хатбридж.

Когда она вошла в комнату, Карол с удивлением взглянул на нее и сразу нахмурился.

— Карол... — Она запнулась.

— Вы были у Барра?

Глаза ее испуганно расширились. Как он умеет угадывать чужие мысли!

— Я... вы, конечно, вправе на меня рассердиться... но я... больше так не могу. Он придет сегодня вечером.

— Сюда?

— Да. Я упростила его. Карол выглянул в окно.

— Не стоило затруднять такое светило поездкой в Хатбридж. В Лондоне я сам сходил бы к нему. Но теперь уже все равно, жаль только напрасно потраченных денег. Спасибо, Оливия. Вы очень добры, что позаботились об этом.

Она отвернулась, ее щемила, грызла тоска. Лучше бы он рассердился, отругал ее, упал духом. Все что угодно, только не это безразличие.

До вечера Оливия бродила по дому и саду, не находя себе места. Остаться в одной комнате с Каролом в обстановке этого тревожного ожидания было свыше ее сил. А он с окаменевшим лицом держал в руках книгу, но прошел целый час, прежде чем он перевернул страницу.

В девять часов, услышав стук колес по усыпанной гравием дорожке, Оливия поспешила в комнату Карола. Он молча отложил книгу.

— Сэр Джозеф Барр приехал.

Она схватилась дрожащей рукой за стол, стараясь сохранить

спокойствие. На миг вся комната, как мостовая в Лондоне, куда-то поплыла. Потом все пошло, как всегда, — просто и буднично. Казалось, она опять в больничной палате и, как в дни ученичества, слушает вопросы врача и ответы пациента. Не странно ли, что она с таким спокойствием смотрит, как у нее на глазах решается судьба этого больного?

Сэр Джозеф проверил рефлексы.

— Ну и повезло же вам, — пробормотал он.

Карол заговорил так тихо, что Оливия с трудом разбирала его слова.

— Так вы полагаете, что возможно полное выздоровление?

— Об этом пока еще говорить рано. Несомненно одно: впредь необходимо совершенно исключить переутомление, недоедание и сохранять полный покой. Надо осесть на каком-то одном месте. И даже при соблюдении всех мер предосторожности не исключена возможность рецидива, но все же теперь есть основания надеяться на благополучный исход. Два года назад я не поверил бы, что это возможно. Сколько вам лет? Нет еще сорока? При правильном образе жизни и известном внимании к своему состоянию вы еще поработаете лет двадцать — тридцать.

— Боюсь, что я не заслужил такого счастья... — улыбаясь, проговорил Карол и повторил про себя: — Тридцать лет.

Когда сэр Джозеф собрался ехать к поезду, Оливия вышла проводить его на крыльцо. Потом она еще долго стояла одна на ступеньках, глядя на темные макушки деревьев под усыпанным звездами небом. Но сегодня ее не могли успокоить даже звезды. Наконец она вернулась в дом и обошла все комнаты, тщательно закрывая на ночь двери и гася свет. Было уже поздно, и слуги спали.

— Помочь вам?

Оливия закрывала окно на лестничной площадке. Схватившись за перила, она быстро обернулась и увидела Карола, стоявшего в дверях кабинета. Тусклый свет из комнаты освещал его лицо — трагическую маску полного безразличия. Оливия сбежала по лестнице, спросила гневно, с упреком:

— И давно вы знали?

— Что мне лучше? Я обнаружил это, когда попытался впервые встать на ноги. Сейчас мне не хотелось бы говорить об этом. Окна в кабинете тоже закрыть?

Он вернулся в комнату. Оливия последовала за ним и, загородив собой окно, устремила на Карола негодующий взгляд.

— Карол, я б никогда не поверила, что вы... посмеете обойтись так со мной. Какая возмутительная жестокость... Никогда в жизни не прощу я вам

этого! И не желаю больше с вами разговаривать! Прощайте.

Он простер руку и не дал ей уйти.

— Объясните, в чем я виновен? Почему вы лишаете меня своей благосклонности?

— И вы еще спрашиваете! Уже два месяца, как вы... оказывается, знали, что есть надежда, а мне... ничего не сказали! И я думала, что вы... О, как вы могли? Как вы могли? — Оливия задыхалась. — Вы всегда все от меня скрывали. Я мирилась с этим, в конце концов вы были вправе поступать, как хотели... Но скрыть от меня даже хорошие новости...

Что-то похожее на румянец разучилось по лицу Карола. Пожав плечами, он отвернулся, и Оливия мгновенно поняла, что он не считал эту новость хорошей. Она протянула к нему руку.

— Карол... О Карол... Я не понимала... Голос ее замер.

— Теперь вы видите, — произнес он наконец, — что я кое-как приспособился.

Оливия закрыла лицо руками. После долгого молчания она неслышно подошла к Каролу и тронула его за плечо. Он вздрогнул и отшатнулся.

— Не надо! Прошу вас!

Потом повернулся к ней, угрюмый и неумолимый, с потемневшими от затаенной обиды глазами.

— По правде говоря, мне надоело быть игрушкой в руках судьбы. Я устал от этого, понимаете? Человек может смотреть в лицо смерти, если он обречен, или жизни, как бы она ни складывалась. Но когда тебя все время швыряет то туда, то сюда и ты должен каждый раз заново приспособливаться... в общем, с меня хватит... — Он резко оборвал себя. — Простите, Оливия. Похоже, сегодня я слишком расстроен. Лучше на эти темы не заговаривать — вы и сами видите, что ничего хорошего не получается. Он склонился над столом и начал собирать бумаги с поспешностью, совсем ему не свойственной. Небольшая пачка газетных вырезок, зацепившись за его рукав, выскочила из металлической скрепки. Он стал вертеть в руках скрепку, стараясь не глядеть на Оливию.

— Мне от души жаль, что вас это так задело, — продолжал он, — может быть, мне и следовало рассказать вам, право, не знаю. Но я... не считал эти симптомы благоприятными. Я рассказал бы вам, знай я, что...

Она резко оборвала его:

— Что же именно? Что вы мне не безразличны? Да кто же еще на свете может быть мне дорог?

Скрепка сломалась в руках Карола. Он отшвырнул обломки, и они с тихим звоном упали на пол.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он спокойно и жутко, приближаясь к ней. — Что вы...

Оба не отрываясь смотрели друг на друга. Внезапно Карол схватил Оливию за плечи и жадно поцеловал в губы. В следующее мгновение он вырвался, отпрянул назад и вытянул руку.

— Послушайте, мы оба сошли с ума... совсем обезумели. Неужели вы полагаете... — Он присел к столу и закрыл рукой глаза. — Неужели, по-вашему, я такой мерзавец, что позволю себе жениться на вас, когда надо мной нависла такая угроза? Рецидив возможен... Вы же слышали... Так сказал сам Барр... Любовь? Иезус-Мария! Какой вздор. Я любил вас всегда с самого начала... Но разве есть здесь место для любви? Неужели вы не понимаете, что я обречен, я уже почти мертв, как мертв Володя? Только я могу еще работать. И я буду работать, куда не свалюсь окончательно... Но я не намерен втягивать в такую жизнь других! Не прикасайтесь ко мне. Этот ад уготован для меня одного, и я не стану его ни с кем делить...

— Станешь! Отныне ад этот не твой, он наш.

Она опустила на колени и обвила руками его шею.

Карол насильно оторвал от себя ее руки.

— Неужели вы хотите до конца своих дней быть прикованной к живому трупу? Да вы просто не понимаете, что это значит. Слово «паралич» вам ничего не говорит.

Оливия почувствовала, как затрепетали от ужаса его пальцы, сжимавшие ее запястья.

— От этой болезни не умирают сразу. Понимаете? И не сходят с ума. Лежишь неподвижно и постепенно каменеешь, с каждым годом все больше и больше... Потом болезнь добирается до мозга... Ах, почему я не умер в Акатуе!

— Но, Карол, ведь всегда остается морфий.

Пальцы Карола разжались. Оливия, не вставая с колен, снова обвила руками его шею.

— Неужели ты думаешь — я захочу, чтобы ты продолжал жить только ради меня, когда сам ты решишь, что уже пора? Ты же достаточно хорошо меня знаешь... Но до этого не дойдет, вот увидишь, не дойдет никогда. А если дойдет, тебе стоит только попросить яду.

— И ты... ты дашь мне его?

— Разве ты не знаешь, что там, на границе, я скорее убила бы тебя собственными руками, чем допустила, чтоб ты попал к ним в когти живым? Так же и теперь. Я отравила бы и Володю, только я не успела... Но пока ты здесь, со мной... О Карол, не надо! Не надо!

В отчаянии она спрятала лицо у него в коленях. Казалось, в жизни нет больше ничего, что могло бы так испугать ее, но увидеть слезы на глазах Карола... Казалось, наступил конец мира...

Рассвет застал их вместе. Ночь прошла незаметно: они долго молчали, потом вспоминали Акатуй, Ванду и Владимира, больше всего Владимира. И сейчас, как всегда, теснее всего связывала их память о погибшем.

— Пойдем посмотрим восход солнца, — сказал Карол. — О Володе нужно вспоминать не в четырех стенах, а на вольном воздухе.

Осторожно, чтобы не разбудить прислугу, отворили они дверь и пошли рука об руку по росистому саду.

Дорожка меж кустами привела их к маленькой калитке; за ней расстился золотисто-зеленый луг. Белые лепестки боярышника осыпали голову Оливии, когда она вышла из-под тенистых деревьев на простор, где вставало солнце. Высоко в жемчужном небе пел жаворонок. Наклонившись, чтобы отпереть калитку, Карол почувствовал, как пальцы Оливии коснулись его руки. Он поднял голову. Оливия смотрела на луг.

— Взгляни на эту бабочку. Она напомнила мне сказку, которую Володя рассказывал как-то детям. Сказку о Гусенице и Стране Завтрашнего Дня. В той стране все звезды слетались днем спать в траву, а все гусеницы превращались в бабочек. Я всегда думала, что это только сказка и нет никакой Страны Завтрашнего Дня. Но Володя был прав: видишь — вот оно, наше Завтра.

Карол показал на траву:

— А вот и звезды. Эти крошечные золотые искры милосердны, они сверкают даже в Акатуе. А в будущем месяце они усыпят низину, где покоится Володя.

Звезды минувшей ночи упали на землю и золотыми лютиками расцвели у их ног.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

## **Примечания**

**1**

Эпиграф взят из «Лирического интермеццо» немецкого поэта Г. Гейне.  
Перевод В. Левика.

...местные церковники обвинили учителя в распространении среди школьников «пагубных идей Дарвина». — По теории великого английского ученого Чарлза Дарвина (1809—1882), виды животных произошли в результате естественного отбора, а не сотворены богом, как учит церковь.

Поэма... рассказывала о переживаниях некоей набожной леди, посетившей гору Елеонскую. — Гора Елеонская — возвышенность в Палестине, неподалеку от Иерусалима.

...будь ее автором сам Мильтон... — Мильтон Джон (1608— 1674),  
великий английский поэт.

Гавергал Фрэнсис Ридли (1836—1879) — английский поэт, писал преимущественно на религиозные темы.

Эпиктет — греческий философ-стоик, жил в I—II веках. «Апология Сократа» — произведение греческого философа Платона.

Бермондсей — район Лондона.

С таким же успехом можно говорить о любви бесчувственной Бритомарте. — Бритомарта — героиня поэмы «Королева фей» английского поэта Эдмунда Спенсера (ок. 1552—1599), воинственная девушка, олицетворяющая добродетель и целомудрие.

Дик Уиттингтон — персонаж народных легенд об удачливом мальчике-сироте, ставшем лорд-мэром Лондона.

...подобно Диогену, вооружившемуся фонарем... — Диоген — древнегреческий философ (ок. 404—323 до н. э.), по преданию, искал настоящего человека, зажигая фонарь даже днем, указывая этим на трудность своих поисков.

Мереди́т Джордж (1828—1909) — английский писатель.

...иллюстрации к драматической поэме, написанной лет двадцать назад. — Э. Л. Войнич имеет в виду произведение А. А. Навроцкого (1839—1914) «Стенька Разин» (драматическая хроника в 7 картинах), впервые опубликованное в журнале «Вестник Европы» за 1871 год, кн. 5, май, под псевдонимом «Н. А. Вроцкий». В 1873 году петербургский кружок революционных народников переиздал в Швейцарии это произведение отдельной брошюрой под названием «Вольный атаман Степан Тимофеевич Разин» и использовал ее в пропагандистских целях. Далее в романе Войнич цитируется отрывок из этой поэмы.

Взять хотя бы этот случай во время коронации в Москве.— Автор имеет в виду катастрофу на Ходынском поле 18 мая 1896 года, в дни коронации Николая II. Из-за преступной халатности властей в образовавшейся при раздаче царских подарков свалке погибли тысячи людей.

Кэд Джек — солдат, в 1450 году возглавивший народное восстание в Англии.

...ведь ты не читала книгу «За рубежом». — Автор имеет в виду эпизод из VI главы книги «За рубежом» М. Е. Салтыкова-Щедрина, опубликованной впервые в 1881 году в журнале «Отечественные записки». Эпизод о торжествующей свинье выражает отношение писателя к реакции, наступившей после казни народовольцев в 1881 году.

Лучший друг моей юности был сослан в Новую Каледонию... — Новая Каледония — остров на Тихом океане, куда французское правительствосылало приговоренных к каторжным работам. Особенно много было сослано туда деятелей Парижской коммуны.

...крестьяне исповедуют униатскую веру.. — Имеются в виду лица, исповедующие православие и признающие власть папы римского.

Он первый человек, сумевший разъяснить мне суть биметаллизма. — Биметаллизм — денежная система, при которой функции денег выполняют два металла (например, золото и серебро).

Юлиуш Словацкий, Избранное, Госполитиздат, М. 1952, стр. 275  
(перевод А. Виноградова).

«Ангелли» — поэма польского поэта Ю. Словацкого (1809—1849).

Аверроэс Ибн-Рошд (1126—1198) — средневековый мыслитель, развивавший материалистические стороны учения Аристотеля.

---